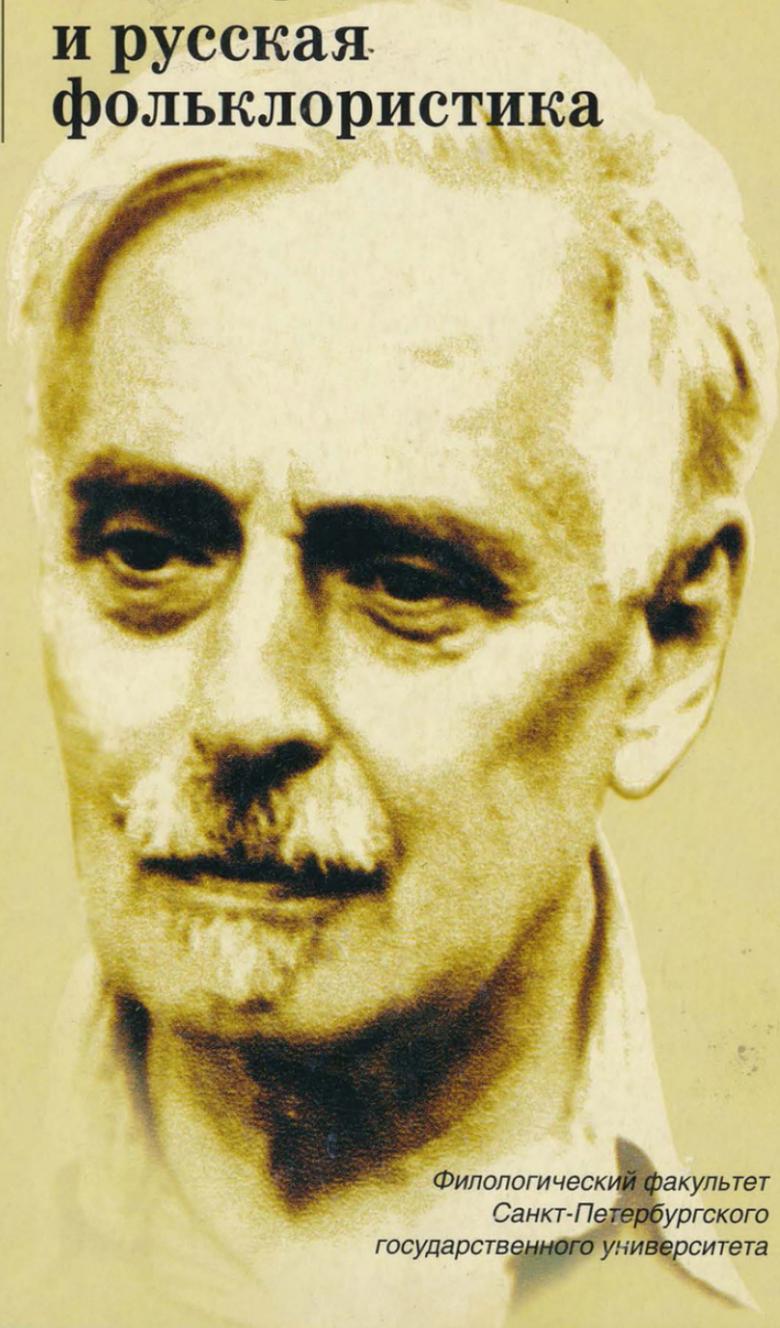


Э. Э. Уорнер

Владимир Яковлевич
ПРОШ
и русская
фольклористика



Филологический факультет
Санкт-Петербургского
государственного университета

ИСТОРИЯ НАУКИ. ПЕРСОНАЛИИ

Элизабет Э. Уорнер

Elizabeth A. Warner

**ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
ПРОПП
и русская фольклористика**

Филологический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург
2005

ББК 82.3(2)
У 64

Издание подготовлено при участии АНО
«Пропповский центр: гуманитарные исследования
в области традиционной культуры»

Уорнер Э. Э.

У 64 Владимир Яковлевич Пропп и русская фольклористика /
Вступ. ст. С. Б. Адоньевой. СПб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2005. — 144 с. — (История науки — Персоналии).

ISBN 5-8465-0092-7

Книга представляет собой исследование творческого пути Владимира Яковлевича Проппа, ученого-фольклориста с мировым именем, анализ четырех его важнейших монографий в контексте политической обстановки того времени и в свете бурных дебатов о природе фольклора. Автор делает попытку объяснить причину расхождений в оценках трудов Проппа между российскими и западными учеными.

По независящим от автора обстоятельствам эта книга увидела свет лишь спустя несколько лет по завершении работы над ней и впервые опубликована не в оригинале, а в русском переводе.

Издание адресовано фольклористам, литературоведам, филологам, а также широкому кругу читателей, которых интересует судьба и наследие В. Я. Проппа.

ББК 82.3(2)

Об авторе:

Элизабет Уорнер — заслуженный профессор Даремского университета в Англии (University of Durham, United Kingdom), где много лет заведовала кафедрой славистики. Она является автором пяти монографий и многочисленных статей по этнографии и фольклору восточных славян. В настоящее время занимается исследованиями крестьянских верований, совместно с коллегами из СПбГУ ежегодно принимает участие в фольклорных экспедициях на севере России. Закончила аспирантуру МГУ под руководством Петра Григорьевича Богатырева.

© Элизабет Э. Уорнер, 2005

© С. Б. Адоньева, вступ. ст., 2005

© Филологический факультет СПбГУ, 2005

© С. В. Лебединский, оформление, 2005

ISBN 5-8465-0092-7

Книга Э. Э. Уорнер о Владимире Яковлевиче Проппе в русском издании

Идея научного прогресса, вот уже почти два века лежащая в области априорных истин любого научного дискурса, в качестве вечного контраргумента имеет потребность в авторитетах, в диалоге с которыми научная мысль только и может существовать. В наибольшей степени это проявляется в дисциплинах гуманитарного цикла. Ни одно из научных направлений, отрицая своих ближайших предшественников, вместе с тем не способно обойтись без определенного набора авторитетов. Причина, вследствие которой слово ученого становится авторитетным и подлежащим цитации даже тогда, когда его научная система давно стала объектом «археологии гуманитарных наук», лежит в области личностных характеристик. Они состоят в способности автора к отказу от собственных выводов, полученных в результате напряженного труда и от собственных научных взглядов в том случае, если они оказываются не соответствующими меняющейся с течением времени личностной картине мира. А это, вероятнее всего, происходит тогда, когда научная мысль ученого оказывается не отделенной от главного, бытийственного вопроса всей его жизни. Тогда ответственность за истинность своего высказывания оказывается выше заботы о собственном статусе.

Способность к перемене как черта личности реализуется в научной деятельности в виде прорыва за рамки зачастую самим же ученым созданных методов, школ или дисциплин. Концепции ученого могут устаревать, но в нем самом, в энергии его личности, явленной в его трудах, потребность будет только увеличиваться.

К фигурам такого масштаба, определившим интеллектуальный почерк XX столетия, относится Владимир Яковлевич Пропп. Его научное наследие — публичное свидетельство внутреннего, скрытого от общественного взора за обложками дневников (а возможно и им не доверявшегося) долгого и сложного пути. После публикации его рукописного наследия — конспектов лекций, дневников — это стало очевидным [142; 200; 146; 76; 144; 143].

Именно этим, а не сменой научных методик и исторической сменой научных парадигм, определена логика исследовательского пути ученого. Методика же разрабатывалась каждый раз заново, становясь не только инструментом исследования, но и одним из его результатов. И это делало каждую работу Проппа потенциальным фундаментом для нового научного направления.

Основу научного наследия Владимира Яковлевича Проппа составляют четыре книги, вышедшие при жизни, и примыкающие к ним по тематике статьи. Первой книгой была «Морфология сказки», изданная в 1928 году — через тридцать лет — и принесшая ему всемирную известность. Вторая — «Исторические корни волшебной сказки» — вышла в 1946 году. Третьей была фундаментальная монография «Русский героический эпос» (1958) и четвертой — «Русские аграрные праздники» (1963). В 1976 году (после смерти ученого) была издана книга «Проблемы комизма и смеха», работу над которой он начал в конце 50-х годов.

Различные по материалу и проблематике, эти работы обнаруживают в основе своей определенную преемственность. Так, существует тесная концептуальная связь между монографиями, посвященными волшебной сказке, и «Русскими аграрными праздниками». Хотя, казалось бы, последняя работа отличается не только материалом, но располагается в системе другой научной дисциплины — этнографии.

В «Морфологии сказки» В. Я. Пропп отказывается от исторического подхода к материалу, от историко-генетической его интерпретации, избирая объектом анализа форму сказочного текста: «Изучение структуры всех видов сказки есть необходимейшее предварительное условие исторического изучения сказки. Изучение формальных закономерностей предопределяет изучение закономерностей исторических» [134, с. 20]. Почти вековая традиция русской фольклористики строилась на изучении явлений устной народной поэзии либо с точки зрения генезиса (мифологическая теория), либо с точки зрения истории (например, теория заимствований). Поэтому можно предположить, что усилия, которые были затрачены, чтобы отказаться от привычного для фольклориста типа дискурса, были очень значительными. Решительно разделив диахронический и синхронный методы исследования и определив своим методом второй, Пропп избрал предметом анализа не сюжеты и не мотивы, но собственно тексты, а целью анализа — выявление их системности.

Весьма примечательным представляется следующий факт. Метод синхронного анализа структуры и те выводы, которые были сделаны ученым относительно объекта анализа — волшебной сказки, — стали предметом широкой научной рефлексии лишь через тридцать лет. «Морфология сказки» становится одной из базовых работ в исследованиях по теории наррации с конца 50-х годов. Но такова судьба и других работ ученого. Типологическое соответствие между волшебной сказкой и обрядом инициации, установленное Проппом в книге, завершённой к концу 30-х годов, развивается в русских исследованиях, посвященных сопоставлению фольклорных нарративов и обрядов «перехода», в конце 60-х — тот же тридцатилетний срок. Исследование календарных ритуалов, идеи, которые были высказаны, метод описания этнографического материала — начинают использоваться и развиваться фольклористами и этнографами лишь в 70-х годах¹.

¹ Исследования «грамматики» славянских обрядов акад. Н. И. Толстым и его научной школой, работы Т. А. Бернштам, Л. М. Ивлевой и др.

Отчасти это — следствие исторических обстоятельств. В русской научной традиции задержка в рецепции наследия ученого может быть объяснена идеологически: ни одна идея, ни одна методика Проппа не укладывались в рамки официальной советской методологии. Однако есть и другая причина, определяющая судьбу научного наследия В. Я. Проппа и коренящаяся в особенностях личности ученого.

Эти особенности проявились в его трудах через специфическое соотношение научных результатов и области их дальнейшего приложения. Полученные вследствие применения всегда оригинальной методики выводы выходят далеко за рамки обычно очень конкретно формулируемой задачи — и это свойственно всем работам В. Я. Проппа. При этом в каждой работе ученый высказывал очень сдержанное отношение к расширению сферы применения этих результатов. Эта особенность проявляется также и в том, что, каждым своим исследованием существенно влияя на общую проблематику науки, В. Я. Пропп избегает научной рефлексии по этому поводу, предоставляя такую возможность своим последователям и оппонентам. Трудно сказать, что в этой ситуации было определяющим: идеологический контекст советского времени или личная позиция ученого. С одной стороны, зависимость, подчиненность исследователя идеологии эпохи сформулирована Проппом однозначно: «Предпосылки, из которых исходят авторы, часто являются продуктом эпохи, в которую жил исследователь. Мы живем в эпоху социализма. Наша эпоха также выработала свои предпосылки, на основании которых надо изучать явления духовной культуры» [141, с. 20].

С другой стороны, существовала и индивидуальная методическая установка, которая была прямо высказана ученым по поводу структурного исследования сказки: «Метод широк, выводы же строго ограничиваются тем видом фольклорного повествовательного творчества, на изучении которого они были получены» [138, с. 137]. Сдержанность в общетеоретических интерпретациях — вплоть до полного от них отказа, как черта уже характерологическая, наиболее открыто высказана в следующем замечании: «...если описываются и изучаются ряды фактов и их связи, описание их перерастает в раскрытие явления, феномена, и раскрытие такого феномена обладает уже не только частным интересом, но располагает к философским размышлениям. Эти размышления были и у меня, но они зашифрованы (разрядка моя. — С. А.) и выражены только в эпитафиях...» [там же, с. 133–134]. Здесь речь идет об эпитафиях из Гете, предваряющих главы «Морфологии сказки».

Структурный принцип описания фольклорных текстов был одним из очень важных результатов, который был тогда получен и который послужил базой для последующих исследований. Не распространяя свои выводы на другие нарративные жанры, Пропп показал, что все волшебные сказки строятся по общей модели. Эта модель конструируется из динамических единиц — предикатов, порядок которых в сказке неизменен. Эти единицы Пропп назвал функциями. Каждая функция состоит из постоянного и переменных членов: постоянным является действие, переменными — субъект действия, объект, на который действие направлено, обстоятельства действия и пр. Тот же прин-

цип: выделение устойчивых единиц — ляжет в основу анализа уже не филологического, а этнографического материала. «В книге „Русские аграрные праздники“ (1963), — писал Пропп в статье 1966 года, — я применил как раз тот самый метод, что и в „Морфологии“. Оказалось, что все большие основные аграрные праздники состоят из одинаковых элементов, различно оформленных»¹. Таким образом, в 1920-е годы им был самостоятельно разработан, а в конце 50-х применен к экстралингвистической сфере — этнографии — метод анализа, разрабатываемый в общем виде одним из наиболее активно развивающихся направлений лингвистики текста (имеется в виду членение высказывания на переменную и константную (пропозиционную) части).

В своей второй книге о сказке ученый использует уже описанный им со стороны формального строения сказочный материал и пытается выявить ту реальность, которая послужила основой для волшебной сказки. «Мы нашли, — писал В. Я. Пропп, — что композиционное единство сказки кроется не в каких-нибудь особенностях человеческой психики, не в особенностях художественного творчества, оно кроется в исторической реальности прошлого» [141, с. 353]. Реальностью, соотносимой волшебной сказкой, оказывается обрядовая реальность «архаических» обществ Океании, Африки, Америки, этнографические описания которых послужили основным интерпретационным материалом в исследовании. Такой выбор контекста обнаружил противоречие между авторским научным методом и авторитарной идеологической предпосылкой. Определяя теорию общественно-экономических формаций в качестве методологической базы (а следовательно, производность социальных форм по отношению к способу производства как методологическую предпосылку), Пропп сталкивается со следующим обстоятельством: «...сказка не соответствует той форме производства, при которой она широко и прочно существует» [там же, с. 20—21]. Либо нужно предположить, что ко времени записи основного объема сказочных текстов в России сказки бытуют только по традиции, они уже не актуальны, поскольку предмет их изображения располагается в догосударственном родо-племенном прошлом, отделенном от первых научных записей русского фольклора тысячелетием. Либо — признать, что волшебная сказка с ее инициационной коллизией актуальна для русской традиции, но тогда оказывается, что русский фольклорный материал нового и новейшего времени интерпретируется на основании архаических социальных моделей. Иными словами, нужно признать то, что славянское архаическое прошлое со свойственными ему социальными институтами есть актуальное настоящее новой и новейшей русской истории.

Но поскольку усомниться в марксистско-ленинском определении форм производства и социальной жизни России XIX—XX веков не представлялось возможным, противоречие это разрешается ученым посредством следу-

¹ Статья «Структурное и историческое изучение волшебной сказки» впервые была опубликована на итальянском языке в качестве приложения к итальянскому изданию «Морфологии сказки» [287; цит. по: 138, с. 133].

ющего пассажа: «Объяснение этого несоответствия мы также найдем у Маркса: „С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке“. Слова „более или менее“ очень важны. Изменение в идеологии происходит не всегда сразу после изменения экономических основ. Получается несоответствие, чрезвычайно интересное и ценное для исследователя. Оно означает, что сказка создавалась на основе докапиталистических форм производства и социальной жизни» [там же]. Установленному в процессе исследования факту типологического соответствия между классической волшебной сказкой и свойственным архаическим культурам обрядом инициации дается единственно возможное объяснение — генетическое. Тем не менее одним из результатов исследования оказывается выявление интерпретирующего фольклорные явления контекста: им становится ритуал или, шире, этнографическая реальность.

Установление изоморфизма нарративных и социоритуальных структур, выявление общего для ритуала и наррации фонда «аргументов» и «предикатов» есть факт, достойный самой широкой научной рефлексии, факт, который должен был стать достоянием не только фольклористики, но и социологии, этнологии, логики. Но этого не происходит. В советской науке послевоенных лет такой рефлексии не могло быть в силу идеологических причин. В мировой науке результаты этого исследования не были известны из-за отсутствия переводов этой книги.

В монографии «Русские аграрные праздники» ученый сопоставляет «тексты» русских календарных ритуалов, выделяя повторяющиеся элементы: «При сравнении праздников между собой обнаружится, что частично они состоят из одинаковых слагаемых... Эти составные части необходимо определить, выделить и сопоставить... Изучив составные элементы, нетрудно будет восстановить и изучить весь ход каждого праздника уже на более широкой и углубленной основе» [145, с. 22].

Формулировка задачи исследования определила характер организации материала. Этнографический материал был расположен не по календарному принципу, как это обычно делалось, а по ритуальным «темам»: пищевой, растительной, эротической и т. д. В этой работе были впервые выделены на восточнославянском материале основные ритуальные коды. Исследование разных ритуальных тем позволило исследователю выделить «слагаемые», образующие общую структуру аграрных обрядов.

В. Я. Пропп оценивал свою работу об аграрных праздниках как предварительные этюды. Тем не менее один из ее выводов оказался настолько методологически «острым», что в многочисленных последующих работах, посвященных славянским календарным ритуалам, наряду с обязательной ссылкой на исследование Проппа, вывод этот не обсуждается: «Святочный умрун, чучело масленицы, троячая березка, Кострома, Иван Купала — не божества, им не воздавали культов, нет никаких признаков, что в их честь воздвигались храмы. Русский обряд (подчеркнем, что речь идет не о реконструкции древних обрядов, а об обряде, представленном в материалах конца

XIX— начала XX века. — С. А.) по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточные и античные культы. <...> Но если уничтожаемые существа не принадлежат к числу божеств, то кто же они? Д. Фрэзер в этих случаях применяет термин „духи растительности“. Это название не соответствует представлениям народа. Дело не в „духе“, а в силе [там же, с. 108]. Пропп определяет русскую традиционную культуру как архаическую культуру «сил», восстанавливая на примере культа растительности следующие фазы развития культов: 1) воплощение силы — дерево; 2) сила отделяется от дерева и антропоморфизмуется. Причем на русском материале Пропп прослеживает переходную форму — сила представлена одновременно и в человеческом образе и в образе растения; 3) третья фаза состоит в том, что антропоморфное существо получает имя.

«Следующая фаза в развитии изучаемых нами представлений на русской почве уже не прослеживается. Она состоит в том, что этим существам начинают приписывать уже постоянное существование...» [там же, с. 109].

Пропп оставался едва ли не единственным ученым, последовательно и однозначно отрицавшим саму возможность славянского пантеона языческих богов. Примечательно, что исследования, посвященные реконструкциям древнеславянского язычества, обходят молчанием эту точку зрения, не критикуя ее и не принимая. Высказанная Проппом идея об архаическом характере русской традиционной культуры предполагает и еще одно теоретическое следствие. Если эта идея верна, то она вводит совершенно новую проблематику в описание социокультурных процессов русской истории Нового времени. Носителями магической культуры «сил» (типологически сопоставимой с культурами народов Океании, индейцев Южной и Северной Америки и т. д.) оказывается значительная часть населения России XIX века, в противном случае не было бы возможности собрать столь значительный по объему и притом актуально бытующий обрядовый материал.

Функцией календарных обрядов Пропп считает организацию циркуляции «сил»: от объектов, в максимальной степени наделенных ими в тот или иной момент времени, к объектам, в возрастании силы которых заинтересованы организаторы ритуала. Механизм, посредством которого это достигается, ученый видит в имитации «действительности, которая должна вызвать изображаемую действительность к жизни» [там же, с. 39]. Таким образом, в во-просе о функции он остается приверженцем «трудовой» теории, в соответствии с которой обряды служат производственным целям, а не целям символизации социальных процессов. Последняя идея входит в зарубежную науку в середине XX века с трудами Кассирера, Леви-Стросса, Тернера и др., а русской этнологической наукой адаптируется в 70-х годах. И здесь имеет смысл указать на следующую тонкость. По мнению Проппа, ритуал обращен в будущее: его задача состоит в знаковом изображении некоей искомой ситуации и передаче этого знакового изображения (или — пользуясь более поздней терминологией — ритуального текста) посредством определенной символической операции — поедания, захоронения, свивания, подбрасывания вверх и пр. — объекту ритуала. Этой же — продуцирующей —

концепции ритуала придерживался и классик русской этнографии Д. К. Зеленин [49]. В более поздних отечественных работах, посвященных ритуалу, ритуальное действие рассматривается со стороны ориентации на прошлое: «То, что было вызвано в акте творения, стало условием существования и воспринималось как благо. Но к концу каждого цикла оно приходило в упадок, убывало... И для продолжения прежнего существования нуждалось в восстановлении, обновлении, усилении. Средством... с помощью которого достигалось это, был ритуал» [185, с. 15]. Сходным образом высказывается относительно природы календарного ритуала А. К. Байбурин: «Те процессы, которые происходят между двумя календарными ритуалами, можно представить как увеличение противоречия между естественным течением времени и структурным его оформлением в ритуале. <...> Задача следующего ритуала — устранить это несоответствие, «узаконить» произошедшие изменения и тем самым санкционировать новое состояние мира» [15, с. 123]. Различия в оценке стратегии обрядов годового цикла и в настоящее время оставляют эту проблематику открытой.

При анализе «слагаемых» обряда Пропп подчеркивал диффузность знаковой и «силовой», «энергичной» природы ритуальных предметов: «Яйца употреблялись одновременно как з н а к воскресения из мертвых и как с р е д с т в о (разрядка моя. — С. А.), вызывающее рост хлебов» [145, с. 106]. В этом замечании его характеристика совпала с характеристикой ритуальных предметов, данной Виктором Тэрнером [164, с. 40]. Эта характеристика делает феномен ритуала более сложным, не давая возможности объяснить характер его действия ни только семиотически — как специфическую символическую систему, ни магически — как определенную культовую практику, существование которой обусловлено особыми формами мышления.

Эти и многие другие вопросы намечены в последней вышедшей при жизни Проппа монографии. Так, например, Пропп впервые высказывает идею о «некоей половозрастной организации», присутствующей в артелях святочных колядовщиков, которая была позже раскрыта в исследованиях Т. А. Бернштам, посвященных различным типам «интерференции» календарных и переходных ритуалов в русской традиции [19].

На сегодняшний день можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что научное наследие В. Я. Проппа в должной мере еще не осмыслено. Восстановление научно-методологического контекста трудов Проппа сделает очевидным тот факт, что его работы оказались значительно опережающими «основное течение» науки XX века, поскольку объединили самое высокое логико-философское обобщение с конкретностью культурного факта, не накладывая на бытие — но выводя из него — новую научную парадигму.

Настоящее историографическое исследование — первый, как в русской, так и в мировой науке, значительный шаг в этом направлении. Работа Элизабет Э. Уорнер, ученого, с одной стороны, прекрасно знающего российскую научную традицию, с другой стороны, отделенного от нее определенной перспективой (пространственной, идеологической, временной), дает возможность увидеть наследие Владимира Яковлевича Проппа в его целостности.

*Посвящается памяти
Беллы Ефимовны Чистовой и
Нины Ивановны Савушкиной,
моим друзьям*

Предисловие

Как это ни покажется удивительным, но и по сей день нет ни одного крупного исследования, даже на русском языке, посвященного жизни и творчеству Владимира Яковлевича Проппа. Автор «Морфологии сказки» В. Я. Пропп занимает особое место среди русских фольклористов. Его работы пользуются заслуженным уважением, но вместе с тем вызывают оживленные дискуссии.

В 1984 году под редакцией А. Либермана была издана антология трудов В. Я. Проппа на английском языке [286], анализировались научные достижения Проппа. Но с тех пор прошло почти двадцать лет.

29 апреля 1995 года отмечалось столетие со дня рождения Проппа. В честь этого события в Санкт-Петербургском университете с 15 по 20 мая была проведена представительная международная конференция. В настоящее время некоторые менее известные работы Проппа подвергаются в России переосмыслению. В 1995 году в Петербурге вышло второе издание книги «Русские аграрные праздники», впервые опубликованной в 1963 году. Как представляется, сейчас пришло время для переоценки значения трудов ученого, чья работа занимает важное место в истории русской фольклористики и чья известность и влияние достигли мирового уровня после публикации в 1958 году английского перевода «Морфологии сказки». Большинство статей Проппа доступны англоязычному читателю¹ в переводах. Однако в России более всего ценятся его монографии: «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (1955) и «Русские аграрные праздники» (1963). За исключением первой монографии, крупные теоретические работы ученого до сих пор не были по достоинству оценены на Западе².

¹ Первоначальный вариант этой книги был написан на английском языке и рассчитан на англоязычного читателя.

² В этой связи следует заметить, что на итальянском языке наследие Проппа представлено несколько шире. О влиянии идей Проппа на итальянский фольклор см. статью П. де Мейера [243].

Целью настоящей книги является заполнение этой лакуны. Ее задача — анализ монографий Проппа и, в частности, тех областей фольклористики, исследованию которых ученый посвятил значительную часть своей жизни, — структурным и генетическим аспектам народной сказки, русскому историческому фольклору и его взаимосвязи с историей, а также этнографии, обычаям и обрядам крестьянства в XIX—начале XX веков.

Хотя «Морфология сказки» имела значительный резонанс на Западе в областях, лежащих за пределами фольклористики, — Пропп был главным образом фольклористом, и именно поэтому автор рассматривает его исследования прежде всего с точки зрения фольклористики, прослеживая развитие его творчества в контексте изучения этой дисциплины в России.

Творчество Проппа нельзя рассматривать изолированно от окружающей его интеллектуальной среды, где в процессе оживленных, а порой и острых дискуссий он должен был отстаивать свои взгляды на природу фольклора.

Крайне трудно изучать эволюцию научной мысли в России без учета политических и общественных реалий. Поэтому я также попытаюсь показать, что труды Проппа являются отражением, даже порождением, той эпохи, в которую он жил. В его работах, опубликованных в течение более чем полувека советской истории, ясно чувствуется влияние изменяющегося политического климата.

Я также попыталась показать, что некоторые представления о личности и творчестве Проппа, получившие широкое распространение на Западе, ошибочны. Это относится прежде всего к его приверженности к формализму, от которого он якобы отказался в пользу исторического метода. Утверждения западных исследователей, что Пропп был марксистом и что он был малоизвестен в своей собственной стране до публикации на Западе английского перевода «Морфологии сказки», подвергаются переоценке. И последнее: я надеюсь, что со страниц этой книги Пропп предстанет перед читателями не только создателем теоретических концепций, но и реальным живым человеком.

Глава I

«МОРФОЛОГИЯ СКАЗКИ»: Восприятие на Западе

«Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют основные составные части сказки».

«Морфологически сказкой может быть названо всякое развитие от вредительства (А) или недостачи (а) через промежуточные функции к свадьбе (С) или другим функциям, использованным в качестве развязки».*

(В. Я. Пропп [107, с. 31, 101])

Несколько слов о Владимире Проппе

26 апреля 1965 года в Актовом зале филологического факультета Ленинградского университета коллеги по университету и Академии наук торжественно и сердечно чествовали профессора, доктора филологических наук Владимира Яковлевича Проппа в связи с его семидесятилетием. С поздравлениями и докладами выступили известные филологи и фольклористы: В. М. Жирмунский, Е. М. Мелетинский, Б. Н. Путилов, Н. И. Кравцов, В. Г. Базанов [16]. Сам Пропп, человек скромный по натуре, чувствовал себя неловко в такой торжественной обстановке. «Юбилей и поздравительные речи похожи на увертюру к похоронам», — сказал Владимир Яковлевич Эрне Васильевне Померанцевой, присутствовавшей на этой церемонии. Свое семидесятипятое — за четыре месяца до смерти — Пропп встречал в узком кругу близких друзей и единомышленников. Кирилл Васильевич Чистов и Борис Николаевич Путилов преподнесли ему огромный букет роз, его любимых цветов, и нарядный адрес с изображением св. Георгия, убивающего дракона, на обложке. Оформление было выполнено их общим другом. Пропп в то время очень интересовался русской иконой [136].

Владимир Яковлевич Пропп, потомок обрусевших немцев, родился в Санкт-Петербурге 16 (29) апреля 1895 года. После окончания средней школы Сент-Анненшуле в 1913 году он поступил в Петербургский университет, чтобы изучать русскую и немецкую литературу, и окончил его в 1918 году с дипломом по русской филологии. Это были годы революций и войн. Хотя Пропп и не служил в армии, он видел все ужасы войны, добровольно работая санитаром в военных лазаретах. Как и многие его товарищи, он перенес немало лишений, страдал от недоедания и холода, из-за которого на лекциях часто приходилось сидеть в пальто.

Зато все трудности вознаграждались интенсивной духовной жизнью. Пропп имел возможность целиком посвятить себя не только русской и немецкой литературе, но и фольклору. В России с середины XIX века литературоведение и фольклористика стали смежными дисциплинами. Фольклор и этнография — это области, которые притягивали к себе внимание самых блестящих и пытливых умов России. Основы фольклорных и этнографических исследований в Санкт-Петербургском университете заложили крупнейшие ученые: А. Н. Пыпин (1833—1904), Ф. И. Буслаев (1818—1897), А. Н. Веселовский (1838—1906), И. А. Шляпкин (1858—1918) и Е. В. Аничков (1866—1937).

Наиболее сильное влияние на молодого Проппа оказал А. Н. Веселовский, профессор истории всеобщей литературы Санкт-Петербургского университета, автор ряда основополагающих работ по русской, византийской и славянской литературе и русскому фольклору.

После окончания университета Пропп преподавал немецкую и русскую литературу в нескольких средних школах, включая Сент-Анненшуле и советскую трудовую школу № 11, а позже — в техникумах и педагогических училищах. Т. И. Сильман, учившаяся в Сент-Анненшуле в конце 1920-х годов, отмечает характернейшую черту Проппа-ученого: «А у дверей другого класса я иногда слышала удивительно четкий и спокойный голос, излагавший историю русской литературы с такой логической ясностью, какой, пожалуй, не удавалось услышать даже на уроках математики» [168, с. 94]¹. В 1932 году Пропп стал преподавателем немецкого языка и немецкой литературы в родном (уже Ленинградском) университете. К этому времени он составил несколько пособий по немецкому языку для экономистов и в дальнейшем сохранял интерес к немецкому языку, несмотря на то, что увлечение русским фольклором [148; 147; 111; см. также: 119] несколько отодвинуло этот интерес на задний план. Продолжая преподавать немецкий язык, он был частым гостем на кафедре фольклора.

В статье 1972 года [225, р. 37] Рейнхард Бреймайер сначала высказал свое удивление по поводу появления в Советском Союзе (подобно «свету с Востока» [*ex oriente lux*], как он выражался) блестящей книги «Морфология

¹ Слова автора звучат очень правдоподобно, хотя надо иметь в виду, что «Мы вспоминаем» — это не мемуары, а роман.

сказки», а затем попытался рассеять «заблуждение» некоторых западных ученых, считавших, что идеи Проппа возникли в своего рода вакууме, в изоляции России от интеллектуального мира остальной Европы. Ссылаясь на некоторых немецких авторов процитированных Проппом в его первых двух монографиях, он предполагает возможное влияние именно немецких ученых на идеи Проппа.

Откуда могло взяться подобное «заблуждение», вообще понять трудно. Проппу и другим ученым его поколения был свойствен высокий уровень научной мысли, унаследованный от великих предшественников второй половины XIX—начала XX века. Это был период величайшего расцвета филологических исследований в целом и изучения славянских языков, истории и культуры (куда входят и исследования в области фольклора и этнографии) в частности. Русские ученые были хорошо осведомлены о том, что происходило в европейской науке. Достаточно указать на то обстоятельство, что «интеллектуальная атмосфера» на кафедре истории всеобщей литературы и кафедре сравнительной филологии университета, направления, составлявшие сферу главных интересов Проппа, были созданы соответственно А. Н. Веселовским и Бодуэном де Куртенэ. Веселовский был знаком как с европейскими научными течениями, так и с античными и современными культурами. Он учился в Берлине и Праге и четыре года проработал в Италии.

Роль Бодуэна де Куртенэ как посредника между лингвистами Восточной и Западной Европы хорошо известна и не нуждается в дополнительных комментариях. Ученик блестящего петербургского филолога И. Н. Срезневского, он стал основателем крупной петербургской лингвистической школы.

В то время когда Пропп был студентом и молодым специалистом, филологический факультет находился в стадии расцвета. Во всех областях лингвистики и литературоведения работали выдающиеся ученые, междисциплинарные контакты были живыми и вызвали разносторонние дискуссии. Несмотря на все возрастающий с середины 1930-х годов политический прессинг, такая ситуация сохранялась до начала второй мировой войны (Дмитрий Сергеевич Лихачев однажды заметил, что филологический факультет Ленинградского университета в предвоенные годы был уникальным явлением).

В те годы существовало тесное сотрудничество между Ленинградским университетом, Академией наук и другими учебными и исследовательскими институтами. Еще будучи студентом, Пропп общался с ведущими представителями формализма, посещая вместе с Г. А. Бялым, И. П. Ереминым, Ю. Г. Оксманом, Ю. Н. Тыняновым знаменитый пушкинский семинар профессора С. А. Венгерова, который сам некогда сотрудничал с Веселовским. Пропп познакомился с Б. М. Эйхенбаумом и В. М. Жирмунским, который был ближе к нему по возрасту и так же, как и Пропп, начал свою карьеру как германист. Сначала он был научным руководителем Проппа, а потом стал его близким другом. В университетские годы Пропп также общался и с А. И. Никифоровым, чья статья, посвященная структуре рус-

ской сказки [81], была опубликована в том же году, что и «Морфология сказки» Проппа [107], а позже — с выдающимися этнографами Д. К. Зелениным и Л. Я. Штернбергом и филологами-классиками И. М. Тронским и С. Я. Лурье, чья работа о роли обрядов инициации в сказке [72] предвосхитила вторую монографию Проппа «Исторические корни волшебной сказки» [141]. В 1920-х годах Пропп поддерживал контакты с Русским географическим обществом, опубликовавшим его первые заметки о морфологии сказки [106], с Институтом этнографии, Институтом истории искусств, являвшимся в то время оплотом формализма, и позднее — с Институтом речевой культуры, где исповедовались теории академика Марра. Энциклопедический характер образования Проппа проявляется как в глубокой эрудиции, свойственной всем его работам, так и в разнообразии его научных интересов. Тем не менее он был слишком самобытен, чтобы примкнуть к какой-либо школе или группе.

Над книгой «Морфология сказки», впоследствии ставшей самой известной его монографией, Пропп начал работать в те годы, когда он преподавал в средних учебных заведениях. Друзья Проппа рассказывали мне, что неизменная скромность сочеталась в нем с сознанием собственной значимости как ученого, что ярко проявилось в истории издания «Морфологии сказки». Он предложил напечатать свою книгу Жирмунскому, который был тогда редактором известной серии «Вопросы поэтики». Жирмунский весьма неохотно согласился просмотреть рукопись, поскольку считал, что молодой преподаватель техникума вряд ли мог написать книгу, представляющую серьезный интерес. Однако, начав читать, он чрезвычайно заинтересовался и, не отрываясь, прочитал рукопись до конца. При следующей встрече с Проппом он сказал ему: «Вы, вероятно, не понимаете, что написали выдающуюся работу». «Думаю, что понимаю», — ответил Пропп.

«Морфология сказки», первая большая публикация Проппа, обладала теми свойствами, которые сохранялись во всех его последующих монографиях: абсолютная скрупулезность, всепоглощающая сосредоточенность на главной идее и удивительная способность к полемике.

Эта книга, которая в самом Советском Союзе вызвала уважение со стороны фольклористов, хотя и не была воспринята безоговорочно, вошла в историю европейской филологии в 1958 году в переводе на английский язык (переиздана в 1968-м [287; 289]).

Отзывы западных ученых

Оживленная реакция многих ведущих ученых — литературоведов, лингвистов и антропологов, проявляющих интерес к структуральному анализу нарративов, последовавшая после издания книги на Западе и продолжавшаяся, по крайней мере, десятилетие, явилась свидетельством того, как «Морфология сказки» и в Европе, и в Америке повлияла на развитие науки, изучающей литературные формы. Поскольку наследие Проппа на Западе уже широко

прокомментировано [см., например: 299, р. XI]², я назову имена лишь наиболее выдающихся из его ранних комментаторов и толкователей: Р. П. Армстронг, Ролан Барт, Клод Бремон, Алан Дандес, Дж. Л. Фишер, А. Жульен Греймас, Элли-Кайя Кёнгяс-Маранда, Клод Леви-Стросс, Пьер Маранда, Томас А. Себек, Цветан Тодоров.

Без сомнения, далеко не все ученые, которые испытали обаяние пропповской оригинальности, полностью разделяли его взгляды. Из всех перечисленных выше ученых истинным последователем Проппа можно назвать лишь Алана Дандеса.

Дандес, как и Пропп, стремился раскрыть основные структурные единицы фольклорного нарратива и, возможно, более, чем кто-либо иной, понимал основную цель «Морфологии сказки»: дефиниция жанра через анализ структуры. Он помог разъяснить идеи Проппа западным читателям, в основном лингвистам, проведя аналогии с работой Кеннета Пайка о структурных аспектах языка и заменив двусмысленный и зачастую неверно понимаемый термин Проппа «функция» [234, р. 105] лингвистическим термином «*emic motif*» или «*motifeme*». Для Бремона, Барта и Тодорова главным было не определение жанра, а описание и анализ нарративных систем в целом. Кёнгяс и Маранда весьма критически отнеслись к использованию Проппом структурного анализа для определения жанра («Структурные исследования могут решать только структурные проблемы» [260, р. 182]). Их интересовало создание структурных моделей как одного из инструментов описания фольклорных текстов в целом. Исходным положением их исследований была не пропповская схема волшебной сказки, а схема мифа Леви-Стросса с ее системой бинарных оппозиций, снимаемых последовательной медиацией. Показательно, что Кёнгяс и Маранда не используют в своих работах волшебную сказку в качестве иллюстрации структурных моделей в фольклоре. Волшебная сказка не так-то легко укладывается в логическую парадигматику схемы леви-строссовского типа. Существует также фундаментальное расхождение между этими исследователями и Проппом в трактовке корпуса исследуемого материала. Пропп поставил себе целью определить, что представляла собой сказка, прежде чем приступить к исследованию ее содержания, в то время как Кёнгяс и Маранда принимали «традиционные» дефиниции жанра как нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на то что Макс Люти одобрил книгу в целом, он — один из немногих — счел выводы Проппа несколько расплывчатыми:

«Формула, представляющая последовательность от *недостачи* к *ликвидации недостатчи*, подходит не только к волшебной сказке, но и ко множе-

² В качестве комментария по вопросу об отношениях между Проппом, Леви-Строссом, Греймасом, Бремоном, Армстронгом, Дандесом, Кёнгяс, Марандой и Мих. Попом см.: [82]. Пропп и западные структуралисты также обсуждаются Е. М. Мелетинским [83, с. 74–97]. См. также сравнение методологии изучения сказки Проппа с методологией Дандеса, Леви-Стросса и Эдмонда Лича [277].

ству других нарративов и к ситуациям реальной жизни... Существенное достижение пропповской дефиниции, как мне кажется, изначально не претендовавшее быть таковым, — это то, что фольклорный герой показан как представитель человечества или даже всего живого в целом» [268, р. 130].

По мнению Люти, Пропп рискует прийти к излишне глобальным обобщениям еще и потому, что не определяет минимальное количество необходимых функций для волшебной сказки.

Люти напрасно упрекает Проппа в отсутствии четких выводов. Хотя Пропп и не определяет количество необходимых функций, он все же дает их описание в главе 3 («Функции действующих лиц»). Согласно этому определению, хотя «недостача» в начале сказки и ведет к «ликвидации недостачи» в ее конце, это происходит посредством «промежуточных функций», которые выделены не просто из общечеловеческого опыта, а связаны совершенно определенным образом с содержанием сказки.

Парадоксально, но другие критики находили метод Проппа слишком узким. Поскольку отправной точкой для исследования Проппа было его наблюдение о повторяющихся элементах именно в волшебной сказке, его схема, естественно, была связана с совершенно определенным корпусом нарративов. Тем не менее такие ученые, как Фишер, расценивали это как недостаток, ограничивающий применение этой схемы по отношению к другим повествовательным формам фольклора. То, что Фишер исходил из совершенно иной отправной точки, неприемлемой для методологии Проппа, становится очевидным из его излишне общего определения термина «*folktale*» (сказка) как «любое традиционное драматическое устное повествование» [243, р. 236].

Вильям Хендрикс, который рассматривал пропповские выводы прежде всего как возможную модель для раскрытия нарративных структур в целом, считает, что «функции» Проппа слишком привязаны к содержанию конкретных сказок. Синтагматический анализ типа пропповского, полагает он, должен быть направлен на «код», лежащий в основе различных коммуникаций; сам же код остается нейтральным и не имеет прямой связи с содержанием текста, которое впоследствии может быть зашифровано с помощью этого кода [252, р. 98]. Естественно, для того чтобы создать универсальные принципы такого рода, функции, выявленные Проппом, необходимо отделить от конкретного содержания. Это, однако, противоречит тому, что Пропп считает своей основной задачей в «Морфологии сказки»: «Ясно, что прежде чем осветить вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет» [107, с. 12]. Интересно, что это важнейшее определение задач было некоторым образом искажено в английских переводах 1958 и 1968 годов. Слово «ясно» опущено, так же как и разрядка Проппа. Словосочетание «собой представляет» переведено как «репрезентирует» (to represent). Таким образом, эмфаза утверждения перенесена с явления (что есть сказка?) на его смысл: «Прежде чем осветить вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос,

что она репрезентирует» («Before throwing light upon the question of the tale's origin, one must first answer the question as to what the tale itself represents» [288, p. 5]) (курсив мой. — Э. Э. У.).

Пытаясь более широко применить методы Проппа к художественной литературе, некоторые литературоведы поняли, что надо поступать осторожно. Анализируя небольшой рассказ Джеймса Джойса, богатый психологическими деталями, но не насыщенный действием (или «функциями» — в терминологии Проппа) [227], Сеймур Чатмен, например, вынужден признать, как и можно было предвидеть, что схема Проппа не помогает при его анализе.

Основные принципы структурального подхода Проппа к сказочному повествованию, безусловно, могут помочь проникнуть в суть структуры других нарративных форм, но с большим успехом они применимы при работе с простыми текстами, где присутствует высокий уровень повторяющихся и условных элементов. Кроме фольклора, сюда можно отнести агиографию или детектив. Любая попытка втиснуть сложную для восприятия современную художественную литературу в строгие рамки пропповской схемы заведомо обречена на провал, ибо современная литература характеризуется многогранностью и разнообразием форм, в отличие от сказки, которая привлекает именно своей предсказуемостью.

Со времени выхода в свет английского перевода «Морфологии сказки» на Западе было опубликовано много, может быть даже слишком много, работ, написанных под влиянием книги Проппа или так или иначе с ней связанных. Его подход использовался для анализа фольклорных нарративов многих стран, а также для анализа других жанров фольклора (загадок, наречий, заговоров и баллад). Подход Проппа применяли при анализе детской литературы и игр, он послужил продуктивной моделью для компьютерного анализа текстов [см., например: 275; 212]. Идеи Проппа постоянно перерабатывались, дополнялись, дробились, их использовали и ими злоупотребляли.

К. В. Чистов [195, с. 52–53; для перевода на английский язык см.: 318] и Е. М. Мелетинский давно обратили внимание на опасность злоупотребления «методом» Проппа. Комментируя попытки Греймаса соединить синтагматический подход Проппа с парадигматическим подходом Леви-Стросса, Мелетинский, например, пишет: «В результате отрыва анализа Греймаса от конкретных фольклорных текстов при построении новой системы из пропповских „функций“ возникают всякого рода натяжки... и особенно при переносе конкретной пропповской схемы сюжета волшебной сказки на мифы» [83, с. 95]. Примером такого сомнительного применения методов Проппа может служить морфологическое исследование Дэниелом Барнсом англосаксонского эпоса «Беовульф». Здесь схема Проппа используется вне контекста, а автор пытается продемонстрировать, что эпос представляет собой структурный тип волшебной сказки в трех частях, или «ходах», следуя терминологии Проппа [215; подробнее см.: 187].

Был ли Пропп формалистом?

В большинстве критических замечаний на Западе содержались упреки Проппу в формализме. В предисловии к первому английскому переводу «Морфологии сказки» С. Пиркова-Якобсон назвала книгу «блестящим образцом классического формалистического подхода», а самого Проппа — «выдающимся представителем русских формалистов» [286, р. VI]. Виктор Эрлих также оценивает эту монографию как «ценнейший вклад формализма в теорию художественной литературы», а аналитический метод Проппа — как «типичную формалистическую стратегию» [241, р. 240, 251], Дж. Л. Фишер [243, р. 251], Клод Бремон [223, р. 32] и Цветан Тодоров также говорили о формализме Проппа. Цветан Тодоров пошел дальше других, отметив, что книга представляет собой «одну из крайних тенденций в формализме, а не его основное направление» [322, р. 65]. В рецензии Мелвилла Джакобса содержатся намеки на формалистские тенденции Проппа. Приветствуя новаторство этой работы, Джакобс тем не менее уделяет гораздо больше внимания тому, чего Пропп не сделал, чем тому, чего он достиг. Джакобс считал, что Пропп мог бы обратить внимание на роль не только функций, но и других текстуальных «единиц» (units), на которые он не обращал внимания, такие как, например, «социальные взаимоотношения», «черты характера», «идейные ценности» и «стилистические единицы» [256, р. 196]. В этом высказывании проявляется непонимание пусть и узкой, но четко поставленной цели Проппа объяснить существование феномена повторяемости в волшебной сказке.

Из всех рецензий на американское издание «Морфологии сказки» наиболее известна статья Клода Леви-Стросса [264], которая имела серьезные научные последствия. На основе замечаний автора рецензии и ответа на них Проппа в статье «Структурное и историческое изучение волшебной сказки» [139, с. 132–152], фактически произошло разделение методики структурного анализа нарратива, в частности фольклорного, на два направления: пропповское и леви-строссовское. Основные критические замечания Леви-Стросса проистекают из его соображений о том, что представляет собой русский формализм и насколько Пропп был приверженцем этого течения. В начале своей статьи Леви-Стросс дает определение формализма и постулирует очевидную оппозицию между формализмом, отвергающим понятие содержания, и структурализмом, которому это не свойственно: «В отличие от формализма, структурализм не противопоставляет конкретное абстрактному и не ценит второе выше первого» [264, р. 3].

Позже Питер Штейнер, разделяя мнение о крайне формалистских взглядах Проппа, высказал предположение, что Пропп, в отличие даже от других формалистов двадцатых годов, полностью игнорирует семантические аспекты фольклорного нарратива [311, р. 92]. Даже такой верный последователь Проппа, как Алан Дандес, указывает на «ограниченность» его монографии и на явное отсутствие интереса к изучению культурных явлений, формирующих структуру сказки [236, р. 173].

Пьер Маранда и Элли-Кайя Кёнгяс-Маранда отмечают, что западные взгляды на принадлежность Проппа к формалистам изменились после публикации в 1965 году перевода его статьи «Трансформации волшебной сказки», в которой он обнаруживает, согласно авторам, «истинное антропологическое чутье» [256, р. XII]. Как бы то ни было, еще сравнительно недавно, в 1990 году, Ирэн Сорлин выдвинула как нечто принципиально новое свою гипотезу о том, что взгляды молодого Проппа не только существенно отличались от взглядов формалистов, но даже были ближе к учению Марра [309].

Но если школы западных структуралистов в целом были склонны рассматривать Проппа в первую очередь как формалиста (независимо от того, оценивали они этот термин негативно или позитивно), то советская критика была более осторожной в своих оценках. Во время празднования 70-летия Проппа П. Н. Берков дал следующую оценку его деятельности: «Идейно В. Я. Пропп никогда не принадлежал к лагерю формалистов» [18, с. 111]. Вероятно, не следует излишне преувеличивать значение этого высказывания, сделанного в 1965 году, где слышны отголоски «антиформализма» более раннего периода в истории русской литературы, к которому мы еще вернемся. Но и Е. М. Мелетинский — как в своих комментариях ко второму изданию «Морфологии сказки», так и в более поздней статье о советском структурализме [82, с. 145; 274, р. 89] — отвергает узкое понимание формализма Проппа, что гораздо более значимо. Первая книга Проппа только в некоторых своих аспектах действительно отражает формалистический подход к анализу текста, но это не относится ко всей книге в целом.

* * *

Обращаясь к литературной критике 1920-х годов, легко отметить полное несоответствие термина Пирковой-Якобсон «ортодоксальный» применительно к школе русского формализма, которая отличалась своими «диссидентскими» тенденциями и была чужда всякой шаблонности. Среди приверженцев формализма возникали серьезные разногласия, а их работы сильно отличались одна от другой из-за противоречивой позиции их авторов. В любом случае это направление прошло несколько стадий развития и к концу 20-х годов далеко ушло от своего исходного состояния (1914—1919). «Морфология сказки» была издана в 1928 году. В то время было уже трудно писать работы в рамках «ортодоксального» формализма, ибо это течение постепенно угасало, находясь под все возрастающим давлением как изнутри, так и извне — со стороны официальных литературных групп, которые уже не отделяли литературу от линии партии. Начиная с середины 1920-х годов взгляды некоторых формалистов стали меняться; они уже были готовы идти на компромисс относительно роли в литературном произведении иных факторов, кроме чистой формы. Типичным представителем этой группы критиков был Б. М. Эйхенбаум. В своем двухтомном труде о творчестве Л. Н. Толстого [210], в отличие от более ранних его формалистских книг о молодом

Толстом (1922) и Лермонтове (1924) [209; 211], критик стремился определить те литературно-исторические рамки, которые оказали влияние на творчество Толстого, в частности на роман «Война и мир». Стремясь предупредить возможную критику своей новой монографии, Эйхенбаум подчеркивает эволюционную природу литературоведения, поскольку «она (эволюция) является законом природы». В 1928 году сам Пропп предостерегал от опасности излишне досконального изучения формы, несмотря на явную необходимость и популярность этого метода, утверждая, что, идя по этому пути, «легко перегнуть палку».

Было бы явным преувеличением сказать, что Пропп принадлежал к формалистской школе, хотя он и работал в тесном контакте с ее приверженцами. Пожалуй, правильнее будет предположить, что он просто был одним из многих молодых литературоведов, которые в 1920-е годы попали под влияние привлекательных своей новизной методов литературной критики, которые предлагала эта школа. Напомним, что с формализмом Пропп оказался связанным отчасти из-за своего сотрудничества с В. М. Жирмунским, руководившим Отделом литературы Государственного института истории искусств, куда Пропп принес свою рукопись. В то время Институт, без сомнения, активно пропагандировал формалистский метод. Сам Жирмунский, однако, не являлся носителем радикальных взглядов этого направления. Эрлих называл его «самым выдающимся среди умеренных квазиформалистов» [241, р. 96].

Уверенность западных ученых в том, что Пропп был увлечен формализмом, можно объяснить как некоторыми неточностями и ошибками, характерными для первого английского перевода «Морфологии сказки», так и незнанием других исследований Проппа, касающихся сказки. Хотя «Исторические корни волшебной сказки» и были изданы на итальянском языке в 1949 году [290], похоже, Леви-Стросс и другие ученые, критиковавшие формалистский подход Проппа, не были знакомы с этой работой. Как бы то ни было, во введении и первой главе этой книги Пропп совершенно ясно говорит о том, что более ранняя его работа, посвященная структуре сказки, была исходным пунктом для последующего исследования ее генезиса. Вот что он пишет в своем «ответе» Леви-Строссу: «„Морфология“ и „Исторические корни“ представляют собой как бы две части, или два тома, одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый же есть предпосылка второго» [138, с. 138]. На Западе не был известен тот факт, что, обращаясь к Жирмунскому по поводу издания своей первой книги, Пропп предлагал дополнительные главы историко-генетического характера, которые вносили бы в книгу именно те аспекты, отсутствие которых в «Морфологии сказки» критиковали Леви-Стросс и другие ученые. Жирмунскому, однако, показалось, что рукопись чересчур длинна, поэтому последние главы были изъяты (они легли в основу следующей монографии Проппа). Тем не менее даже в сокращенном варианте книга не оставляет сомнений относительно истинной позиции Проппа и одинаковой значимости для него как формы, так и содержания. Объясняя в предисловии к «Морфологии сказки» вынужденные изменения, внесенные в текст

рукописи, Пропп пишет: «Предполагалось дать исследование не только морфологической, но и совершенно особой логической структуры сказки, что подготовляло изучение сказки как мифа» [107, с. 7]. К тому же в заключение Пропп упоминает о тех элементах сказочных сюжетов (чудесных рождениях, запретах и т. д.), которые нуждаются в дальнейшем изучении: «Само собой разумеется, что подобное изучение не может ограничиваться только сказкой. Большинство ее элементов восходит к той или иной архаической бытовой, культурной, религиозной или иной действительности, которая должна привлекаться для сравнения. Вслед за изучением отдельных элементов должно следовать *генетическое* (курсив мой. — Э. Э. У.) изучение того стержня, на котором строятся все волшебные сказки» [там же, с. 127]. «Морфологию сказки» следует рассматривать как подготовку к изучению диахронической природы сказки, о чем совершенно недвусмысленно высказывается Пропп: «Вряд ли можно сомневаться в том, что окружающие нас явления и объекты могут изучаться или со стороны их состава и строения, или со стороны тех процессов и изменений, которым они подвержены, или со стороны их происхождения. Совершенно очевидно также и не требует никаких доказательств, что о происхождении какого бы то ни было явления можно говорить лишь после того, как явление это описано» [там же, с. 11].

И далее: «О историческом изучении сказки мы пока (курсив мой. — Э. Э. У.) говорить не будем, мы будем говорить только об описании ее — ибо говорить о генетике без специального освещения вопроса об описании, как это делается обычно, — совершенно бесполезно» [там же, с. 11–12].

Однако из-за неточного перевода на английский столь ясно изложенные в первой цитате принципы и цели Проппа оказались нечетко сформулированными. Например, три его альтернативных подхода к анализу сказки: структуральный, исторический и генетический — сведены к двум, противоречивым и нелогичным: «Вряд ли можно сомневаться в том, что окружающие нас явления и объекты могут изучаться или со стороны их состава и строения *и* (курсив мой. — Э. Э. У.) тех процессов и изменений, которым они подвержены, или со стороны их происхождения». (It is scarcely possible to doubt that phenomena and objects around us can be studied either from the aspect of their composition and structure *and* (курсив мой. — Э. Э. У.) those processes and changes to which they are subject, or from the aspects of their origins) [286, p. 4]. Из второй цитаты в переводе исчезло важное для Проппа слово «пока», сделав, таким образом, утверждение Проппа более формальным, чем оно было на самом деле: «Мы будем, опустив историческое изучение сказок, говорить только об описании их, ибо говорить о генетике без специального освещения вопроса об описании, как это делается обычно, — совершенно бесполезно». («We shall, in omitting reference to historical study of the folktale, speak only about the description of folktales, since a discussion of genetics, without special elucidation of the problem of description as it usually treated, is completely useless») [ibid.].

Тот факт, что схема Проппа не исключает, а, наоборот, стимулирует историко-генетические исследования, был уже отмечен и вполне справед-

ливо одобрен Перетцем в одной из первых рецензий на книгу «Морфология сказки» [98, с. 190—191].

Пропп, безусловно, придавал большое значение содержанию сказок, но, как это ни парадоксально, среди западных последователей, упрекавших его в формализме, были и такие, для которых его *метод* был важнее предмета исследования. Это невнимание к тому, что Пропп говорит своим читателям о содержании сказок, проходит через все первое американское издание его книги. Например, юмористическая сказка о цыгане, перехитрившем змея благодаря тому, что он преувеличил и свою силу, и свою способность свистеть громче всех, перефразируется Проппом так: «Цыган обращает в бегство змея, выжимая кусок творога вместо камня, выдавая удар дубиной по затылку за свист». В английском же тексте мы находим следующий лишенный смысла пересказ: «Цыган обращает в бегство дракона, размахивая куском сыра, будто камнем, и одновременно поражая его ударами дубинки!» Слово «искусник» несколько раз было переведено как «искуситель» там, где речь идет о так называемых помощниках героя и где слово «искуситель» явно неуместно: «Итак, герой случайно сталкивается с различными искусителями, подобно тому как он встречался бы с дарителем» [286, р. 47, 76]. Для тех западных ученых, чья главная задача состоит в разработке метода структурного анализа нарратива, содержание сказки, возможно, и не имеет большого значения: им безразлично, кого купил Иван на самом деле — «вещую кошку» (в оригинале) или «волшебного коня» («magic horse» — в английском переводе); превращает ли жена своего мужа в «кобеля» (оригинал) или в «кобылку» («a mage»), подвергая его, таким образом, не только перемене образа, но и перемене пола; вырезают ли у героя со спины ремень или просто ранят ему спину, как в английском тексте. Однако, если предпринимается попытка диахронического исследования, точность в таких деталях весьма существенна.

Ошибки в переводе книги Проппа, особенно в издании 1958 года, наряду с неудовлетворительным знанием изучаемого корпуса материалов, а именно волшебной сказки, сбили с толку некоторых первых западных критиков Проппа. И Фишер, и Греймас, например, были поставлены в тупик следующим. В шестой главе «Морфологии сказки» Пропп разбивает свои «функции» на семь категорий, каждая из которых является «кругом действий» определенного действующего лица. Среди них — «круг действий царевны (искомого персонажа) и ее отца» [107, с. 88]. Это ошибочно переведено как «круг действий искомого персонажа (принцессы и т. п.) и ее отца» [286, р. 72]. Этот перенос акцента с конкретной *царевны* на неопределенного «искомого персонажа» (мужчину или женщину) заставляет Фишера заметить: «Почему не *его матери*, позвольте поинтересоваться?» [243, р. 288]. Конечно же, ответ таков: в сказках, анализируемых Проппом, искомым персонаж — всегда женского пола: это либо невеста, разыскиваемая героем, либо его сестра, либо его мать. Действия невесты и действия ее отца, которые одинаково могут ставить перед героем трудные задачи для достижения брака, часто совпадают, вследствие чего Пропп и объединил отца и дочь в пределах

одного круга действий. Бесспорно, это же место в переводе ввело в заблуждение и Греймаса. В своей книге он путает отца *царевны* (невесты, разыскиваемой героем), который может ставить герою сложные задачи перед тем, как согласиться на его брак с дочерью, с отцом *героя*, также царем, но который, как «отправитель» (*mandateur* у Греймаса), определяет задачу, «отсылающую» героя на поиски недостающего объекта [247, р. 178, 184].

Подобные недоразумения, возникшие из-за неточностей перевода, отмечены в статье Хендрикса «Структурные модели „работы“ и „игры“ в сказочном повествовании» [253]. Тезис Хендрикса о том, что волшебная сказка имеет две параллельные структурные формы, одна из которых находится в зависимости от понятия «работа» (герой «зарабатывает» себе невесту), а другая — от понятия «игра» и смежных с ней понятий («испытаний», «задач» и «наград»), оказывается несостоятельным, если мы вернемся к оригинальному тексту. Например, в «игровой» модели по Хендриксу, Иван выигрывает награду в виде невесты. Действительно, в английском переводе мы находим: «His brothers steal his prize» (его братья похищают его «приз») (1968, с. 59). Но в оригинале то, что они похищают, — это его «добыча», т. е. речь идет о «добывании» невесты, а не о «выигрывании» ее в качестве награды в какой-нибудь игре.

К счастью, во втором издании «Морфологии» на английском языке устранено огромное количество погрешностей перевода. И все же, вспоминая упреки Проппу в формализме, следует заметить, что по непонятным причинам так и остается неисправленным одно существенное упущение: цитаты из работ И. В. Гёте по ботанике и остеологии, предвещающие в оригинале предисловие и 1, 2 и 9-ю главы, в английском издании вообще отсутствуют. Включение этих цитат сделало бы доступной для читателя значительную часть концепции Проппа. Нельзя забывать о том, что создание Проппом «Морфологии сказки» не было вызвано абстрактным интересом к природе литературной композиции или стремлением проанализировать фольклорный нарратив, а было продиктовано наблюдением над феноменом «повторяемости» в русской волшебной сказке и попыткой раскрыть его причины.

Как германист, Пропп, конечно же, был знаком с работами Гёте. Его воодушевило стремление Гёте раскрыть законы, лежащие в основе феномена повторяемости в растительном и животном мире, а также мысль Гете о процессе трансформаций повторяющихся элементов, позволяющем разнообразию развиться из единообразия, и, что еще важнее, вера Гёте в существование архетипической формы растений (*Urpflanze*). «Сама природа будет мне завидовать, — пишет Гёте. — С этой моделью и ключом к ней можно будет затем изобретать растения до бесконечности...» Примечательно, что Пропп пользуется этой цитатой в начале своей 9-й главы («Сказка как целое»), где она напоминает нам о вере самого Проппа в структурную модель волшебной сказки, которая может позволить исследователю создать несметное количество новых сказок, и одновременно обеспечивает философский подтекст главных выводов Проппа. Изъятие цитат из Гёте и, как неизбежное следствие этого, ослабление философского аспекта, согласно которому

Пропп, превзойдя единичное, стремится к пониманию общих принципов и причин, сильно его задело. Это чувствуется в статье «Структурное и историческое изучение волшебной сказки», написанной в ответ на критику со стороны Леви-Стросса. Любопытно, что Леви-Стросс заметил лишь голую абстракцию в праформе сказки (Urtärchen), обнаруженной Проппом. На его взгляд, она лишает сказочный репертуар его богатства и разнообразия, по существу сводя его к какой-либо одной форме: «До формализма, наверное, мы не имели никакого представления о том, что есть общего у всех этих сказок. После него мы совершенно перестали понимать, чем они различаются» [265, р. 23]. Очевидно, Леви-Стросс просто неправильно истолковал идеи Проппа. Однако в самой «Морфологии» отношение между праформой сказки и отдельными сказками выражено достаточно ясно, и не только в приведенной выше цитате из Гёте («С этой моделью и ключом к ней...»), но и в самом тексте книги. Вот что говорит о праформе сказки Пропп: «Она для отдельных сказок является единицей мерки. Подобно тому, как материю можно приложить к метру и этим определить ее длину, сказки могут прилагаться к схеме, и этим они определяются. Из приложения же разных сказок к данной схеме может быть определено и отношение сказок между собою. Мы уже предвидим, что вопрос о родстве сказок, вопрос о сюжетах и вариантах благодаря этому может получить новое разрешение» [107, с. 73].

Леви-Стросс наверняка правильно понял бы концепцию Проппа, если бы он смог прочитать приведенный выше отрывок вместо того, чтобы ломать голову над, в сущности, бессмысленным переводом: «Данная схема является единицей измерения для отдельных сказок. Сказки могут измеряться по этой схеме подобно тому, как определенная материя подлежит измерению» («The scheme is a measuring unit for individual folktales. Folktales may be measured [and thereby defined] by the scheme, much in the same way matter of a given kind is subject to measure») [286, р. 58].

Пропп разделял в высшей степени романтическую точку зрения Гёте о том, что природа и искусство не являются взаимоисключающими сферами, что существует единство и общность законов, управляющих всем живым. Любопытно вспомнить, что Гёте, создавший свою собственную теорию эволюции, был современником деда Чарльза Дарвина — Эразма (1731–1802), который упоминается в предисловии к «Франкенштейну» Мэри Шелли. Именно он начал работать над теорией эволюции, впоследствии законченной его более знаменитым внуком.

Несомненно то же стремление проникнуть в самую суть живой природы, которое вдохновило молодого ученого Франкенштейна, когда он перешел от изучения структуры человека («Я собирал кости в склепах и нечестивыми пальцами обшаривал ужасные секреты строения человека» [306, р. 315]) к попытке создать новую жизнь, испытывал и молодой Пропп. Эта тяга к открытиям, ощутимая в цитатах из Гёте, потеряна при переводе.

Конечно же, Гёте не был для Проппа единственным источником вдохновения при выборе им биологической модели для описания сказочной фор-

мы. На него оказало влияние и исследование фаблио, выполненное Бедье. Бедье, как и Проппа, интересовала проблема установления вариантных и инвариантных элементов в фольклорном нарративе, и он использовал в своих заключениях биологическую метафору. «Сказка — это живой организм», так же как растение или животное. Как можно добавить к одному растению путем прививки другие или удалить у животного какие-то органы, не разрушая при этом свойственную ему природу, так и к сказке можно добавить или убрать из нее кое-какие второстепенные детали. Но при этом остаются неотъемлемые органы (инвариантный элемент), которые нельзя изменить, не разрушив целостности объекта [217, р. 186].

Такое отношение к литературному произведению, подчиняющемуся тем же законам, что и животный и растительный мир, было свойственно и некоторым приверженцам формализма, выдвигающим свою модель в противовес таким формалистам, как В. Шкловский, который воспринимал литературу как нечто более механистическое [подробнее см.: 312]. Как бы то ни было, «Морфология» отличалась своей преданностью концепциям Гёте. Существует только одна работа такого же плана — исследование М. А. Петровского морфологии новеллы [91]. Цитатами из Гёте Петровский открывает и заканчивает свое эссе «Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre» (Изучение формы есть изучение трансформации) — еще одна концепция Гёте, имевшая для Проппа большое значение. Целью Петровского было выявление — через исследование структуры — типологического различия между новеллой и другими формами нарратива, такими как повесть, рассказ или анекдот. Выводы Петровского менее убедительны и менее разработанны, чем у Проппа. Петровский, так же как и Пропп, применяет простую горизонтальную схему, обозначая синтагмы структуры буквами [от *a* для подготовительной, или открывающей, части — *Vorgeschichte*, до *e* для заключительной части — *Nachgeschichte*]. Но кажущееся сходство между двумя работами является чисто поверхностным. Как и Пропп, Петровский не отделяет форму от содержания, но, в отличие от Проппа, Петровский считает, что форма новеллы определяется и композицией, и сюжетом. На самом деле в его описании сказки гораздо больше точек соприкосновения существует между «Морфологией новеллы» Петровского и статьей Проппа «Трансформации волшебной сказки» [109; см. также: 298, р. 82—99]. Согласно мнению Петровского, в основе сюжета новеллы лежит человеческая жизнь. Бесконечное разнообразие содержания новеллы, при ограниченной и повторяющейся структуре, происходит именно из бесчисленных сюжетных переплетений, представленных самой жизнью. Каждая новелла является отдельным «преобразованием» моделей жизни.

Интересно, что А. П. Скафтымов, чей морфологический анализ русских былин [170, с. 38—39] очень часто сопоставлял с «Морфологией сказки» Проппа, также обращается к ботанике, но использует не работу Гёте, а книгу Эрнста Гроссе «Начала искусства» («Die Anfänge der Kunst»), вышедшую в русском переводе в Москве в 1898 году. Более того, Скафтымов

уделяет основное внимание не столько композиции былины, сколько ее бесконечным вариациям и вопросу о том, как исторически развивается и изменяется былина под влиянием других поэтических форм или творческого подхода отдельных исполнителей. Такое разнообразие усложняет, согласно Скафтымову, и без того трудную задачу выяснения генезиса былин. Искусствовед или историк не в состоянии объяснить в мельчайших подробностях того, как возникала каждая из этих многочисленных художественных форм, так же как ни один ботаник не сможет объяснить происхождение формы каждого конкретного растения. Таким образом, Скафтымов оправдывает возникновение часто противоречивых рассуждений своих предшественников о генезисе былин.

Вопрос о приемлемости биологических метафор для изучения структуры нарративов вообще проблематичен. Питер Штейнер, например, с некоторым опасением воспринимает сопоставление Проппом литературных форм с живыми организмами. Обращаясь со сказкой как с объектом эмпирических исследований, Пропп, на взгляд Штейнера, упускает те самые нематериальные аспекты, те уровни значения, ту телеологию, которые являются неотъемлемой частью литературного произведения [312, р. 92].

* * *

Отвечая на весьма негативный отзыв Леви-Стросса на «Морфологию сказки», Пропп предупреждает: «Не всякое изучение формы есть изучение формалистическое, и не всякий ученый, изучающий художественную форму произведений словесного или изобразительного искусства, есть непременно формалист» [138, с. 140].

Как мы уже видели, вряд ли можно безоговорочно применить к Проппу определение «формалист», хотя в его работах можно усмотреть некоторые характерные для формализма черты, в частности, стремление раскрыть композиционные принципы, которые определяют облик любого поэтического произведения или отличают один жанр от другого. Как это ни парадоксально, но, несмотря на то что Пропп был не самым ярким приверженцем формалистской школы, написанию «Морфологии сказки» способствовал один из самых крайних ее сторонников, В. Шкловский, который, по крайней мере в начале своей деятельности, разделял механистическую точку зрения на литературный анализ. В своем исследовании «О теории прозы» Шкловский рассматривает исключительно внутренние законы литературы, отвергая все другие подходы — генетический, биографический и прочие: «Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов» [206, с. 162]. В этой работе Шкловский, наряду с прочими повествовательными жанрами, обращается и к сказке. Одно из его заявлений, без сомнения, привлекло внимание Проппа. Указывая на сходство между сказками, положившее начало бесконечным теориям, включая и теорию этнографической школы, которую Шкловский безогово-

рочно отвергал, он делает следующее замечание: «Случайные совпадения невозможны. Совпадения объясняются только существованием особых законов сюжетосложения... На самом же деле, сказки постоянно рассыпаются и снова складываются на основании особых, *еще неизвестных* (курсив мой. — Э. Э. У.), законов сюжетосложения» [206, с. 23–24]. Пропп воспринял эти слова как вызов и с гордостью возвращается к ним в конце «Морфологии сказки»: «Закон этот выяснен» [107, с. 122].

Отвергая такие объяснения, как полигенез и заимствование, выдвинутые Веселовским, Миллером и другими в качестве объяснения параллельных тем и мотивов, Шкловский тем не менее как будто соглашался с концепцией Веселовского о сюжете как о структуре, состоящей из переплетения мотивов: «Сказка, новелла, роман — комбинация мотивов; песня — комбинация стилистических мотивов» [206, с. 50]. Пропп придерживался иного мнения. Главная его критика Веселовского обращена на то, что Веселовский выдвигал мотив как организующую единицу в структуре сказки; Пропп же считал, что мотив не является неделимой единицей, что он может быть раздроблен и дальше, а высокая степень его вариативности уже наводит на мысль о непригодности определения мотива как устойчивой основы сказочного типа. Пропп разбирает один из «мотивов» Веселовского («змея похищает дочь царя») и показывает, что он состоит не из одного элемента, а из четырех, каждый из которых легко заменить другими вариантами. Пропп, разумеется, прав. Но и в функциях, указанных им в «Морфологии сказки» как базовые единицы, из которых строится сказка, степень вариативности также может быть значительной. Когда мы рассматриваем отдельные сказки, то способ реализации функции сильно варьируется («змея похищает дочь царя», «служанка вырезает глаза своей госпожи»). Предложения, которыми пользуется Пропп для того, чтобы описывать реализацию «функции», не так уж сильно отличаются от «мотивов» Веселовского. Кроме того, Пропп преувеличивает степень вариативности мотивов Веселовского. На определенной ступени они просто превращаются в другие мотивы.

Обсуждая, что важнее для формалистов — форма или содержание, и предположив некоторую степень их противопоставленности друг другу, Эрлих с удивлением цитирует одно из наиболее полемичных, по его мнению, высказываний Шкловского: «Самое удивительное в методе формалистов — это то, что он не отвергает идеологическое содержание искусства, но считает так называемое содержание одним из аспектов формы» [205, р. 129, цит. в: 241, р. 187]. Эрлих пытается понять, что отрицает Шкловский — «значимость» или «отделимость» содержания. Последнее несомненно. В работе «О теории прозы» Шкловский повторяет примерно то же самое, достаточно неожиданно используя в качестве иллюстрации не современного писателя, а реалиста XIX века Льва Толстого. Толстой указывает на бессмысленность попыток отыскать, например в романе, «отдельные мысли», так как сущность литературной работы, скорее, в «бесконечном лабиринте переплетений их». По мнению Шкловского, то, как переплета-

ются отдельные мысли, обеспечивает создание именно романа, а не любой другой прозаической формы. То есть он интересовался не только «мыслями» (или мотивами, или другими носителями компонентов содержания), а в гораздо большей степени следил за их переплетением или комбинациями. Сюжет, представляющий собой способ организации мотивов, без сомнения, является одновременно и формой, и содержанием. Следовательно, в анализе литературной работы с точки зрения ее «сюжетности», пользуясь выражением Шкловского, содержание как нечто отдельное и самостоятельное просто отпадает [206, с. 50].

Аналогичные соображения, касающиеся нераздельности содержания и формы, отчасти встречаются и у Проппа. В заключительной части «Морфологии сказки» Пропп вновь излагает свое понимание композиции, сюжета и содержания. Для него короткие информационные байты, составляющие содержание сказки, — такие, как «родители уезжают в лес, запрещают детям выходить на улицу» и т. п., — относятся и к сюжету, и к композиции: «подлежащие, дополнения и другие части фразы» дают сюжет, а «сказуемые» — композицию. Ясно, что такой подход полностью исключает разделение сюжета и содержания. В своем ответе Леви-Строссу Пропп еще категоричнее формулирует свое мнение по данному вопросу. Пропп отвергает мысль о том, что форму можно изучать совершенно независимо от содержания. Он не приемлет также возможность того, что любую из этих двух категорий якобы можно изучать как таковую, абстрактно, не опираясь на специфический корпус материала. Если говорить, в частности, о сказке, то «...сюжет как таковой составляет содержание произведения. Содержание сказки о Жар-птице для народа состоит в рассказе о том, как огненная птица прилетела в сад короля и стала воровать золотые яблоки, как царевич отправился ее искать и вернулся не только с Жар-птицей, но и с конем, и с красивой невестой» [208, с. 146].

Сюжеты переменны композиции, поняты как набор «функций», формирующих структуру сюжетов, постоянны. У некоторого количества различных сюжетов может быть одинаковая композиция. «Если бы не было опасности дальнейших терминологических недоразумений, — пишет Пропп, — совокупность сюжета и композиции можно было бы назвать структурой сказки». Если, как утверждает Пропп, композиция и сюжет взаимозависимы, так же как содержание и сюжет, то из этого следует заключение о том, что «форма и содержание неразделимы» [246, с. 143, 147]. Шкловский в своей книге «О теории прозы» вносит еще один нюанс в постановку этого вопроса. Он различает понятия *сюжет* и *фабула*, из этих двух более очевидно связан с формой сюжет, поскольку он организует повествование в конкретные формы. Фабула же является описанием событий нарратива. «На самом деле, фабула есть лишь материал для сюжетного оформления» [206, с. 161]. Если мы представим категорию «атрибутов действующих лиц», которой посвящена 8-я глава «Морфологии сказки», как до некоторой степени представляющей фабулу, облекающей «плотью» структурный скелет, то, возможно, в за-

ключительном выводе Проппа о том, что представлено сказкой «как целое», мы уловим отголосок этого разграничения. Законченная схема волшебной сказки, по мнению Проппа, выглядит таким образом:

«Основные составные части — это функции действующих лиц. Далее мы имеем связующие элементы, затем мотивировки. Особое место занимают формы появления действующих лиц (прилет змея, встреча с ягой). Наконец, мы имеем атрибутивные элементы или аксессуары, вроде избушки яги или ее глиняной ноги³. Эти пять разрядов элементов определяют собой уже не только конструкцию сказки, но и всю сказку в целом» [107, с. 105].

Похоже, Пропп уверен в том, что такой взгляд на неразделимость формы и содержания сам по себе должен защитить его от обвинений Леви-Стросса в формализме. Как бы то ни было, есть основания считать подход Проппа к повествовательному материалу по существу формалистическим. Пропп начинает свое исследование с отказа от «предрассудков» своих предшественников относительно структуры нарратива, предлагая взамен достаточно субъективные взгляды своих современников — формалистов. Подводя итоги, Пропп определяет волшебную сказку как «развитие (курсив мой. — Э. Э. У.) от вредительства или недостачи через промежуточные функции к свадьбе или другим функциям, использованным в качестве развязки», что само по себе является глубоко формалистическим высказыванием. Это — достаточно узкое определение жанра, при котором игнорируется множество других факторов. Особенно странным кажется то обстоятельство, что Пропп, уже начавший собирать материалы для своего труда «Исторические корни волшебной сказки», должно быть, знал об этих факторах, из которых можно отметить: ритуальный подтекст волшебной сказки, обстановку, в которой рассказывается сказка, особенности личности рассказчика, время и стиль повествования, взаимосвязь между рассказчиком и слушателями. Безусловно, именно эта ограниченность взглядов Проппа на определение жанра сказки привела его к заключению, что и другие повествовательные формы, такие как миф, могут обладать аналогичной структурой. Возможно, здесь ему следовало обратиться к тем аспектам жанра, которые могли бы выступить в качестве определителей, а не предлагать, как он это сделал, пересмотреть жанровые границы сказки.

Восприятие Проппом сюжета сказки как ряда приемов (чисто формалистический термин), связанных между собой особым образом, явно заимствовано у формалистов. Для Проппа важнейшим приемом построения волшебной сказки являются функции (поступки) действующих лиц.

Точка зрения Проппа на взаимозаменяемость конкретных деталей рассказа и его относительное невнимание к специфическим персонажам волшебной сказки с их различными именами и атрибутами (другими словами, его отчасти индифферентное отношение к тем элементам, которые отличают одну сказку от другой)

³ Эпитет «глиняная» относительно ноги Бабы-яги (нога обычно «костяная») необычен. Как мне кажется, он встречается только в сказке «Гуси-лебеди».

также близки утверждениям Шкловского о том, что фабула только обеспечивает сырье для построения сюжета и что персонажи, такие, например, как Дон-Кихот Сервантеса, порождаются самой структурой романа [206, с. 77, 161]. Всякий критик, не придерживающийся формального метода, сразу поймет, что такой взгляд на природу литературы может привести к очевидным нелепостям.

Пропп не был формалистом в узком смысле этого слова, но нельзя не согласиться с тем, что теории формалистов в какой-то степени предопределили систему его мышления. В этом нельзя усмотреть ничего плохого, если учитывать убедительность и устойчивость его общих выводов о структуре волшебной сказки. Адаптированный Проппом формальный метод оказывается более или менее удачным в его применении к волшебной сказке.

Леви-Стросс и Пропп: взаимное непонимание

Сам Пропп очень точно объяснял, что он подразумевает под такими терминами, как сюжет, композиция, функция. Более того, точность и последовательность в применении этих терминов является отличительной чертой всех его работ. Но, несмотря на это, его терминологию часто истолковывали неверно.

В своем критическом анализе, посвященном «Морфологии сказки», Леви-Стросс вносит свою лепту в терминологическую путаницу, заменив употребляемый Проппом термин «сюжет» термином «тема» (*thème*). Пропп объясняет это недоразумение так: «Леви-Стросс предпочитает термин „тема“, потому что „сюжет“ есть категория, относящаяся ко времени, а „тема“ этим признаком не обладает» [138, с. 146]. Это справедливо, но здесь усматривается и еще одно отличие, лежащее в основе полярности подходов Проппа и Леви-Стросса. Если сравнить «Морфологию сказки» с основополагающей работой Леви-Стросса «Структурное изучение мифа» [263], то расхождение во взглядах между двумя учеными обнаруживается уже в выборе ими заглавий. Для Леви-Стросса задачей «структурного изучения» является анализ, тогда как для Проппа цель анализа — сама структура. Если цель Проппа в «Морфологии сказки» — дать определение жанра через его структуру, то интересы Леви-Стросса лежат в области использования структуры для объяснения значения: «Если в мифологии можно найти значение, то оно кроется не в отдельных элементах, которые входят в композицию мифа, а в разных переплетениях элементов». Переложив линейный сюжет мифа об Эдипе в бинарную модель, он замечает: «Если мы теперь вернемся к мифу об Эдипе, мы поймем его смысл» [*ibid.*, р. 431, 434]. Тем не менее для Леви-Стросса более важными, чем значение, по всей вероятности, являются подсознательные механизмы мышления первобытного человека, лежащие в его основе.

Миф рассматривается как повествовательная структура, порожденная мифологическим мышлением, и задачей структурного анализа становится нахождение характерных сочетаний, закономерных принципов или процессов, свойственных мышлению первобытного человека, служащих основой мифа.

Несмотря на то что труды Проппа и Леви-Стросса основаны на осознании малопонятного единообразия, с одной стороны, в русской волшебной сказке и с другой — в мифе, оба исследователя продвигались к объяснению интригующего явления с диаметрально противоположных позиций. Пропп начинает исследование с наблюдений: «В приведенных случаях имеются величины постоянные и переменные. Меняются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или функции. Отсюда вывод, что сказка нередко приписывает одинаковые действия различным персонажам. Это дает нам возможность изучать сказку по функциям действующих лиц» [107, с. 29]. Леви-Стросс, наоборот, начинает не с наблюдений, а с гипотез, которые он пытается подтвердить, применив их к определенным мифам. Главной из них, «сутью вопроса», по выражению Леви-Стросса, является то, что значение мифа может быть определено не из основных единиц повествования («gross constituent units»), а по типу их отношения друг к другу или по «пучкам (bundles) таких отношений» [263, р. 431]. В этом, безусловно, и заключается суть вопроса, так как из этого положения и развилась многомерная схема мифа, созданная Леви-Строссом. Объясняя свою позицию относительно структуры мифа, он использует музыкальные аналогии. Можно полностью понять музыкальное произведение только тогда, когда мы научимся читать партитуру не просто горизонтально, от начала до конца, но и вертикально, по нотным ступенькам, которые и составляют гармонию, и когда, сверх того, поймем соотношения между разбросанными по всей линии композиции нотными группами, а также отношение этих отдельных групп к произведению в целом. Таким же образом мы можем постичь подлинное значение мифа только тогда, когда обнаружим свойственные ему «пучки отношений», соответствующие узорным сочетаниям и гармониям в музыке, и перестроим их сообразно новой схеме, допускающей и синхроническое, и диахроническое прочтение. Ключевым в данном случае является слово «перестроить». Ведь для Леви-Стросса важно не последовательное развертывание мифологического повествования, а переставление семантических «пучков» для того, чтобы «заново установить их верный порядок» [ibid., р. 431, 432]. Предложенная Леви-Строссом реорганизация материала мифа в парадигмы, основанные на семантических оппозициях, безусловно имеет свою ценность, хотя очевидная субъективность таких «переставлений» и их интерпретация, возможно, могут насторожить. Однако отнюдь не обязательно, что эта схема так же хорошо применима и к волшебной сказке, которая несет в себе гораздо меньше философского содержания, чем миф. Структура волшебной сказки скорее похожа на своеобразное состязание, где одна сторона (герой) борется со множеством противников или препятствий. С этой точки зрения, развитие сюжета сказки — по существу линейное, и ее «значение», если здесь уместно это слово, логически должно заключаться в ее конце, когда герой, решив все проблемы, поставленные в ходе различных стадий «игры», становится победителем.

Непонимание основной цели, поставленной себе Проппом, сквозит и в других критических замечаниях, содержащихся в обзорной статье Леви-Стросса. Один из вопросов, занимающих западных ученых с тех пор, как «Морфология сказки» впервые появилась в английском переводе, — это вопрос о том, в какой степени выводы Проппа могут быть использованы по отношению к другим повествовательным жанрам. Например, Макс Люти в своей работе «Европейская сказка: форма и природа» предполагает, что сам Пропп считал, что его выводы, если они правильны, верны и для нерусского материала и что «его определение (сказки. — Э. Э. У.) может быть применимо и к мифу» [268, р. 130]. Однако Пропп нигде не утверждает, что его выводы могут иметь существенную значимость, кроме как в дефиниции жанра волшебной сказки. Правда, он говорит, что «довольно большое количество легенд, единичные сказки о животных и единичные новеллы» [107, с. 108] обнаруживают ту же структурную модель, которую он выявил на материале русской волшебной сказки. Но из этих замечаний он вовсе не заключает, что его «метод» универсален, а наоборот, делает вывод, что термин «волшебная сказка» как жанровое определение скорее всего должен быть пересмотрен.

Леви-Стросс, как мы видим, приступая к анализу мифа, сначала разработал метод, а потом уже использовал его. Поэтому для него было естественным предположить, что Пропп поступает так же, хотя внимательное чтение «Морфологии» свидетельствует о том, что дело обстояло иначе. Леви-Стросс сделал вывод относительно более широкого распространения теории Проппа, отчасти основываясь на неточном английском переводе ключевого момента из «Поэтики сюжетов» Веселовского, которым Пропп заканчивает «Морфологию сказки». Веселовский предполагает, что в нарративе существуют повторяющиеся схемы даже в самых сложных его современных формах, схемы, которые мы пока не в состоянии увидеть из-за нашей близости к ним.

«Дозволено ли и в этой области поставить вопрос о типических схемах... схемах, передававшихся в ряду поколений как готовые формулы, способные оживиться новым настроением, вызвать новообразования?»

Современная повествовательная литература с ее сложной сюжетностью и фотографическим воспроизведением действительности, по-видимому, устраняет саму возможность подобного вопроса; но когда для будущих поколений она очутится в такой же далекой перспективе, как для нас древность, от доисторической до средневековой, когда синтез времени, этого великого упростителя, пройдя по сложности явлений, сократит их до величины точек, уходящих вглубь, их линии сольются с теми, которые открываются нам теперь, когда мы оглянемся на далекое поэтическое творчество, — и явления схематизма и повторяемости водворятся на всем протяжении» [там же, с. 127–128].

Таким образом, Пропп, заканчивая свою книгу, только намечает пути к дальнейшему изучению структурных моделей нарратива. Однако перевод, которым пользовался Леви-Стросс, изобилует пропусками, ошибками и опечатками, создавая впечатление, что Веселовский (и Пропп вслед за ним) при-

держиваются упрощенной точки зрения: вся литература, в основном, однообразна по своей структуре и вследствие этого может быть проанализирована с использованием лишь одного метода. Леви-Стросс, естественно, озадачен: «Непонятно, на какой основе можно будет произвести дифференциацию материала, когда мы захотим, помимо единства литературного творчества, познать природу и причины его многообразия» [265, р. 23].

Убежденность Леви-Стросса в том, что метод первичен по отношению к материалу и что этот метод, основанный на построении оппозиционных парадигм, является правильным, ведет к дальнейшим критическим замечаниям относительно материала, отобранного Проппом для анализа в своей книге. Сказка, считает Леви-Стросс, является объектом, малопригодным для применения данного метода, так как она слишком нестабильна и зависит не только от влияния извне, но и от творческой прихоти индивидуального рассказчика.

В конце 1950-х—начале 1960-х годов не существовало единого, общепринятого определения понятия «миф». В литературе часто не делали точного разграничения между терминами «миф» и «сказка». Фишер, например, включает в понятие «сказка» (folktale) мифы, легенды, басни и другие повествовательные жанры [243, р. 272]. Для Леви-Стросса миф и сказка различаются скорее всего количественно. Оппозиции, прослеживающиеся в мифе, — более высокого порядка, и они тяготеют к глобальным, космологическим масштабам, в то время как сказка — это «миф в миниатюре», где те же оппозиции сводятся к масштабам более «камерным», личным. Поэтому сказки представляют собой менее благодарную почву для применения аналитического метода, и Леви-Стросс заключает, что Пропп выбрал именно сказки только потому, что недостаточно хорошо был знаком с мифами. Согласно Леви-Строссу, «нет серьезных причин для разграничения сказок и мифов» [265, р. 17—20], и он не разделяет мнения, что миф предвосхищает сказку в эволюции. Для Проппа разница между мифом и сказкой — по преимуществу качественная. Сказка по своей сути — это «художественное произведение», вымысел, она осознается как вымысел самими сказителями. Миф же рассказывается и мыслится как правда, действительность; миф сакрален по своей природе. Миф появился до сказки, и даже в тех случаях, когда «сказка и миф строятся по одинаковой схеме, миф всегда древнее сказки» [138, с. 149]. В своих комментариях ко второму советскому изданию «Морфологии сказки» и, десятилетие спустя, в «Поэтике мифа» [82, с. 144; 83, с. 262] Е. М. Мелетинский полностью поддерживает Проппа в этом вопросе. Фактически Пропп выразил взгляд на миф большинства советских фольклористов. В статье С. А. Токарева и Е. М. Мелетинского, посвященной сказке и мифу, в авторитетной двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира», наряду с признанием сходства сказки и мифа как по содержанию, так и по структуре, отмечаются и существенные различия между двумя этими жанрами: «Так, при размежевании мифа и сказки современные фольклористы отмечают, что миф является предшественником сказки, что в сказке, по сравнению с мифом, происходит ослабление (или потеря) этиологической

функции, ослабление строгой веры в истинность излагаемых фантастических событий, развитие сознательной выдумки (тогда как мифотворчество имеет бессознательно-художественный характер)» [184, с. 15].

То, что миф предшествует сказке хронологически, принимается авторами этой статьи как аксиома.

Когда «функция» не является «функцией»?

Во 2-й главе «Морфологии сказки» Пропп сформулировал четыре основных положения о природе волшебной сказки. Первое касается вопроса о переменных и инвариантных элементах: «Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют основные составные части сказки» [107, с. 31]. Интересно отметить, что почти за 40 лет, разделяющих первую публикацию «Морфологии сказки» и ответ Проппа на критические замечания Леви-Стросса, позиция Проппа по этому вопросу не изменилась.

В. Перетц в своей рецензии на «Морфологию сказки» отмечал, что выделение Проппом функций — наиболее оригинальная и ценная идея его книги [98, с. 189]. Однако вопрос о том, что конкретно представляют собой эти функции и что именно пишет о них Пропп, стал предметом дискуссий и споров сразу же после первой публикации «Морфологии сказки». Сам Пропп дает четкое определение термина «функция»: «Под функцией понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия» [107, с. 30–31]. Правда, надо заметить, что выбор слова «функция» неудачен из-за неопределенности этого термина даже в русском языке. К тому же некоторые из тридцати одной выделенной в книге функции едва ли соответствуют собственному определению Проппа, например, функция XIV («в распоряжение героя попадает волшебное средство»).

Леви-Стросс неверно понимает осмысление этого термина Проппом, в основном потому, что имеет уже сложившееся в его собственных работах о мифе иное понимание «функции». Он, как позднее и другие исследователи, не соглашается с тем, что функции действующих лиц являются постоянными величинами, тогда как их имена и атрибуты могут меняться; под «функцией» Леви-Стросс скорее всего понимает «роль» или «качество» — дефиницию, которая отражает его интерес к семантике, а не к элементам, организующим и движущим вперед сюжет: «Тот факт, что в одной и той же функции орел появляется днем, а филин — ночью, уже позволяет нам определять первого как дневного филина и второго — как ночного орла, что, в свою очередь, обнаруживает оппозицию дня и ночи как самую существенную в данном случае». Позднее он пишет о функции трикстера, выполняемой иногда койотом, иногда норкой, иногда вороном. То же неправильное понимание определения Проппа заставляет его предполагать, что количество его функций может быть уменьшено, если считать некоторые из них просто прямыми противоположностями или вариантами других [265, р. 26, 27–28, 34]. Все это верно,

но подобная трактовка полностью разрушает идею функции как элемента, организуемого дальнейшего развития сюжета.

Неверное понимание того, что Пропп имел в виду под «функцией», относится далеко не к одному Леви-Строссу. Так, Ева М. Томпсон как будто не видит четкого разграничения между «функциями» (в пропповском их понимании), «ролями» и «атрибутами»: «Он заметил, что различные действующие лица выступают в одной и той же функции в разных сказках. Например, для того чтобы герой мог продолжать свой путь, в его распоряжении могут оказаться орел, конь, лодка или волшебное кольцо. Функцию божества может выполнять само божество, ангел или святой. Функцию страшного препятствия может играть ведьма, медведь, гном, леший». Ниже она пишет, что функции Проппа, определяемые одним словом (выдача, вредительство и т. д.), суть «качества, которыми действующее лицо, ситуация, предмет должны обладать, если сказка действительно является волшебной» [322, р. 125–126]⁴.

На Западе существует целый ряд структурных исследований нарративов, которые, используя труд Проппа в качестве первоисточника, на самом деле обнаруживают явное недопонимание термина «функция». Так, например, в статье Ю. Тернер «Морфология баллад на тему „Верная любовь“» функции определяются как «роли, выполняемые символами»: Даже беглый взгляд на выделенные ею в балладе «функции»: 1. «Верная любовь» («True love»), 2. «Ситуация влюбленных» и т. д. — позволяет увидеть, как мало общего они имеют с функциями Проппа [326].

Пренебрежение к точности, с которой Пропп определяет свой термин в отношении строго определенного корпуса текстов, содержится и в исследовании Дениела Барнса, посвященном морфологии англосаксонской эпической поэмы «Беовульф» [215], и в работе Джека Сассона о библейской «Книге Руфи» [304]. Пользуясь замечаниями Проппа из контекста и игнорируя содержание сказок, к которым они относятся, Барнс приходит к заключению, что «Беовульф» структурно близок волшебной сказке и содержит многие из «функций», выделенных Проппом⁵. Столь же неубедительным выглядит и заключение Сассона о том, что форма «Книги Руфи» такая же, как в сказке, потому что «она так аккуратно укладывается в пропповскую модель последовательных функций» [ibid, р. 214].

Внимательное прочтение книги Проппа показывает, каким поверхностным и, в конечном итоге, ложным оказывается обнаруженное сходство структур между такими явно несходными нарративными формами.

Первый английский перевод «Морфологии сказки» отнюдь не способствовал уяснению понятия «функции» по Проппу. Вот два примера, иллюстрирующие это.

⁴ Здесь Томпсон ошибочно привела в пример перевод «Морфологии» 1958 г. В действительности же в волшебных сказках не фигурируют ни божества, ни ангелы, ни святые. Пропп пишет о них в контексте «мифов и верований», но эта фраза была пропущена в переводе (см. с. 19).

⁵ Для обсуждения этого вопроса см.: [187].

Перевод 1958 года:

«Both invariants and variables are present in the preceding instances. The names of the dramatis personae change (as well as the attributes accorded to each), but neither actions nor (выделение мое. — Э. Э. У.) functions change» (p. 18).

«В приведенных случаях имеются инвариантные и переменные величины. Меняются названия действующих лиц (так же, как и атрибуты каждого из них), но ни действия, ни функции не изменяются» (с. 18).

Сам Пропп пишет так:

«В приведенных случаях имеются величины постоянные и переменные. Меняются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или функции» (с. 29).

Заменяя союз «или» (or) отрицанием «ни» (nor), переводчик устанавливает не существующее в оригинале различие между «действием» и «функцией», — ошибка, которая, к сожалению, перекочевала и во второй английский перевод 1968 года, где мы обнаруживаем выражение: «ни их действия, ни функции не меняются» (см. с. 20).

Перевод 1958 года:

«Investigation readily reveals that the recurrence of functions is astounding. Thus Baba Jaga, Morozko, the bear, the wood goblin, and the mare's head test and reward the stepdaughter. Going further, it is possible to establish that characters of a folktale in its several versions often perform the same actions, in spite of their wide variety. The actual means of the realization of functions can vary, and as such, it is a variable. Morozko behaves differently than Baba Jaga. Yet, **their** function, as such, is a constant» (p. 19).

«Исследование ясно показывает, что повторяемость функций поразительна. Так, Баба-яга, Морозко, медведь, леший и кобыля голова испытывают и награждают падчерицу. Идя далее, можно установить, что персонажи сказки в нескольких ее вариантах часто совершают те же действия, несмотря на их широкую вариативность. Способы реализации функции могут варьироваться и, таким образом, являются переменными величинами. Морозко ведет себя не так, как Баба-яга. Однако их функция как таковая постоянна» (с. 19).

У Проппа:

«Исследование покажет, что повторяемость функций поразительна. Так, и Баба-яга, и Морозко, и медведь, и леший, и кобылячья голова испытывают и награждают падчерицу. Продолжая наблюдения, можно установить, что персонажи сказки, как бы они ни были разнообразны, часто делают то же самое. Самый способ осуществления функций может меняться: он представляет собой величину переменную. Морозко действует иначе, чем Баба-яга. Но функция, как таковая, есть величина постоянная» (с. 29).

Добавление местоимения *their* (их) в последнем предложении перевода 1958 года ведет к представлению функции скорее как роли, нежели как действия (как это понимает Пропп).

Еще одна, более широкая проблема привлекла внимание комментаторов исследований Проппа, как в России, так и на Западе: являются ли «функции» постоянными структурными элементами сказки и являются ли они единственными постоянными ее элементами. Спорили о том, в какой степени другие элементы сказки, в особенности имена и атрибуты персонажей, являются «переменными». Питер Штейнер, например, соглашается с Леви-Строссом в том, что действующие лица сказки не изменяются произвольно [311, р. 95]. Этот вопрос поднял и В. Н. Топоров в статье, посвященной «Морфологии сказки» Проппа [324, р. 259].

В «Морфологии» Пропп несколько раз касается вопроса о функциональных омонимах. Так, может показаться, что герой совершает одно и то же действие (выбирая, например, из ряда «одинаковых» предметов единственный, который чем-то специфически отличается от других). Однако в одном случае (выбор одного из коней Бабы-яги) перед нами предстает испытание героя помощником, а в другом случае (выбор невесты среди дочерей морского царя) мы имеем пример трудного задания, связанного со сватовством.

Кроме того, кажущиеся одинаковыми действия могут выполняться разными людьми. Так, Иван может жениться на царевне; отец может жениться на вдове с двумя дочерьми. Хотя оба эти действия кажутся аналогичными, в действительности они различаются морфологически. Здесь-то Пропп и вводит важное уточнение в свое определение функции как «поступка действующего лица, определенного с точки зрения его значимости для хода действия».

Топоров верно указывает, что в таких случаях, по крайней мере, позиция действия внутри сюжета обусловлена тем, кто действует и по отношению к кому, уменьшая тем самым случайность выбора субъектов и объектов действия в противоположность предикатам. Макс Люти также возражает против утверждения Проппа о том, что «композиция — постоянна», «содержание — изменяемо». Люти использует лингвистическую аналогию, чтобы предположить как раз противоположное тому, что постулирует Пропп, т. е. «одно и то же высказывание может быть сформулировано в предложениях совершенно разной конструкции» [268, р. 126]. В таком случае содержание предстает как неизменная величина, а структура — как переменная. Однако сразу встает вопрос: что же именно в волшебной сказке является эквивалентом «высказывания»? Имеет ли в виду Люти сюжет, фабулу или еще какой-то семантический уровень, близкий к леви-строссовским оппозициям? Хуже всего то, что при таком подходе полностью искажается исходное намерение Проппа дать определение жанра через его структуру. В любом случае, если рассмотреть лингвистическую аргументацию Люти в «обратном порядке», можно утверждать, что простое предложение все равно остается простым предложением, какое бы высказывание в нем ни содержалось, и если грамматические правила, определяющие структуру простого предложения, выходят за опре-

деленные границы, простое предложение перестает быть таковым, превращаясь в нечто иное. Аналогичным образом, если мы откажемся от структуры как элемента, определяющего жанр сказки, и предположим, что структура может быть произвольно изменена, то перед нами будет уже не «волшебная сказка», а иная нарративная форма — новелла, рассказ, легенда и т. п.

Люти, как и Леви-Стросс, рассматривая утверждение Проппа о произвольности набора других элементов в противоположность строгому набору функций, склонен преувеличивать уровень этой произвольности: «Но этот жанр как таковой нельзя представить без королей, принцев, принцесс, колдунов или волшебных предметов. Эти персонажи и объекты возникают с тем же удивительным постоянством, как любые стереотипные события или последовательные действия» [ibid., p. 127—128]. Это действительно так, и Пропп в принципе не отрицает этого. Хотя он и допускает, что номенклатура и атрибуты персонажей могут меняться под влиянием таких факторов, как реальный быт, другие виды литературы, религия и т. п., в его конкретных примерах всегда действует тот круг персонажей, который Люти квалифицирует как характерный именно для волшебной сказки. Даже та полная свобода в выборе персонажей, которую Пропп «предоставляет» сказочнику, тут же им и оговаривается: «Надо, однако, сказать, что народ и здесь не слишком широко пользуется этой свободой. Подобно тому как повторяются функции, повторяются и персонажи». Когда персонажи попадают в сказку со стороны (в качестве примера Пропп упоминает черта), они неизменно подчиняются ее «нормам и законам» [107, с. 124 и примеч.]. В конечном счете, сведение Проппом действующих лиц сказки к семи само по себе является обстоятельством ограничения, наложенного жанром на возникновение излишнего разнообразия.

Все это тем не менее не отрицает научной ценности ряда интересных исследований, посвященных второму пропповскому определению волшебной сказки как «сказки, подчиненной „7-персонажной схеме“». Среди них — работы Арчера Тэйлора [317], Дэвида Бухана [226] и Елены Новик [93]. Арчера Тэйлора интересует биографическая модель, которую можно выделить в волшебной сказке, и поэтому он считает определение сказки как «7-персонажной схемы» более убедительным, чем определение сказки как «развитие от вредительства или недостачи через промежуточные функции к свадьбе или другим функциям, использованным в качестве развязки». Возможно, Тэйлор недооценивает значимость для самого Проппа его «7-персонажного» определения: («Как мне кажется, он впоследствии игнорирует свою «7-персонажную схему») [317, p. 122].

Не следует забывать, что на понятии о «7-персонажной схеме» основана 6-я глава Проппа «Распределение функций по действующим лицам», в которой он определяет семь «кругов действий», соответствующих семи действующим лицам: вредителю, дарителю, помощнику, царевне (искомый персонаж) и ее отцу; отправителю, герою и ложному герою.

В своей статье о балладах Дэвид Бухан предпринял попытку восполнить два упущения в работах последователей Проппа: он обратил внима-

ние, во-первых, на мало изученную последователями Проппа балладную форму и, во-вторых, на очевидное пренебрежение значимостью его «7-персонажной схемы». Бухан полагает, что это пренебрежение является следствием низкого качества перевода обоих американских изданий «Морфологии сказки» Проппа, в которых, как ему кажется, неясно выражено различие между двумя терминами, использованными Проппом: *действующее лицо*, которым обозначаются, согласно Бухану, абстрактные «сказочные роли» (tale-roles), и *персонаж* (character), которым обозначаются специфические исполнители «сказочных ролей» в каждой отдельной сказке [226, р. 160]. Свою терминологию Бухан заимствует из статьи Геды Ясон и Дмитрия Сегала [259]. Вопрос терминологии здесь, без сомнения, очень важен, поэтому необходимо точно определить, что же на самом деле писал Пропп в «Морфологии сказки». В американских изданиях «Морфологии сказки» *действующее лицо* и *персонаж* не всегда четко дифференцируются — в этом Бухан прав. Однако мысль Проппа все же остается достаточно ясной. Проблема в том, что Пропп сам не делает четкого разграничения между терминами «персонаж» и «действующее лицо». В одних случаях он проводит разграничение, предложенное Ясон и Сегалом, в других — нет. К тому же Ясон и Сегал в своих переводах текста Проппа сами оказываются непоследовательными. Например, в приведенном ниже отрывке Пропп использует термин «действующее лицо», который Ясон и Сегал, вопреки собственному заявлению, что *действующее лицо* всегда соответствует абстрактному «tale role», переводят как «character», то есть персонаж.

Перевод Ясон и Сегала:

«Functions of CHARACTERS serve as stable, constant elements in a tale, independant of how and by whom they are fulfilled» (с. 316).

«В сказке функции ПЕРСОНАЖЕЙ служат устойчивыми, постоянными элементами, вне зависимости от того, как и кем они осуществляются».

У Проппа:

«Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются» (с. 31). (Сохраняется курсив автора.)

Чтобы проиллюстрировать непостоянство определений в тексте самого Проппа, достаточно привести несколько ключевых утверждений:

«Таким образом, сказка знает семь действующих лиц. По этим же персонажам распределяются и функции подготовительной части (e, b-b, w-w, g-g), но распределение здесь неравномерно, и по этим функциям определять персонажи нельзя. Кроме того, есть специальные персонажи для связок (жалобщики, доносчики, клеветники), а также специальные предатели для функции W (зеркальце, долото, веник). Сюда же относятся такие персонажи, как Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка» (с. 89).

Здесь у самого Проппа нет четкого разграничения между двумя названными выше терминами, но в своем переводе Ясон и Сегал, выделяя слова «сказочная роль» и «персонаж» (чего нет в оригинале), как будто упускают из виду, что эти термины здесь абсолютно равнозначны:

«Consequently, the tale evidences seven TALE ROLES. The functions of the preparatory section [...] are also distributed among the same CHARACTERS, but the distribution here is unequal, making the definition of the DETERMINATION of the CHARACTERS impossible by these functions. In addition there exist special CHARACTERS for connections (complainers, informers, slanderers), and also special betrayers for function 5 (a looking glass, a chisel, a broom). CHARACTERS such as «One-Eye» and «Three-Eye» belong here also» (p. 317).

«Следовательно, в сказке существует семь СКАЗОЧНЫХ РОЛЕЙ. Функции „подготовительной части“ (...) также распределяются среди этих ПЕРСОНАЖЕЙ, но распределение здесь неравное, что делает невозможным определение специфической природы ПЕРСОНАЖЕЙ через эти функции. Кроме того, существуют специальные персонажи для связей (жалобщики, доносчики, клеветники), а также особые предатели для функции 5 (зеркало, долото, метла). Сюда относятся и такие ПЕРСОНАЖИ, как „Одноглазка“ и „Треглазка“».

Еще один пример. Вот как описывает Пропп приемы введения новых лиц в сказку:

«Каждая категория персонажей имеет свою форму появления, к каждой категории применяются особые способы, какими персонаж включается в ход действия... Если в сказке нет дарителя, то формы его появления переходят на следующий персонаж, именно — на помощника» (с. 93).

Кроме того, в дополнение к пропповскому первому определению волшебной сказки: «Таким образом, сказка знает семь действующих лиц» (с. 89), мы также находим: «Волшебные сказки можно бы назвать сказками, подчиненными „7-персонажной схеме“» (с. 108).

Из представленных выше примеров видно, что Пропп использует термин «персонаж» там, где Ясон и Сегал употребили бы либо «персонаж» («character»), либо «сказочная роль» («tale role»). Несмотря на это, идея Проппа совершенно ясна, так как на протяжении всей книги он постоянно подчеркивает, что в определении структуры важно не кто производит действие, а действие само по себе.

Нужно отметить, что замысел Проппа не передается с полной ясностью ни в американских изданиях, ни в исправлениях Ясон и Сегала. Сравните:

Перевод 1968 года:

«The question of *what* a tale's dramatis personae do is an important one for the study of the tale, but the questions of *who* does it and *how* it is done already fall within the province of accessory study. The functions of characters are

those components which could replace Veselovskij's „motifs“, or Bédier's „elements“». (p. 20).

«Вопрос, что делают сказочные действующие лица, важен для изучения сказки, но вопросы, кто и как это делает, уже относятся к области второстепенного изучения. Функции персонажей являются теми компонентами, которые могут заменить „мотивы“ Веселовского или „элементы Бедье“» (с. 20).

Перевод Ясон и Сегала:

«The question of what a tale's CHARACTERS do is an important one for the study of the tale, but the question of who does it and how it is done fall within the province of accessory study. The functions of TALE ROLES are those components which could replace Veselovskij's „motifs“ or Bédier's „elements“» (p. 314).

«Вопрос, что делают сказочные ПЕРСОНАЖИ, важен для изучения сказки, но вопросы, кто и как это делает, уже попадают в область второстепенного изучения. Функции СКАЗОЧНЫХ РОЛЕЙ являются теми компонентами, которые могут заменить „мотивы“ Веселовского или „элементы“ Бедье» (с. 314).

У Проппа:

«Для изучения сказки важен вопрос, что делают сказочные персонажи, а вопрос, кто делает и как делает, — это вопросы для второстепенного изучения. Функции действующих лиц представляют собой составные части, которыми могут быть заменены „мотивы“ Веселовского или „элементы“ Бедье» (с. 29).

Здесь Пропп подчеркивает различие не между персонажем и действующим лицом — терминами, используемыми фактически как синонимы, а между тем, что, кто и как делает. В переводе 1968 года этот нюанс затушевывается неправильно построенным предложением и, строго говоря, «действующие лица» и «персонажи» переведены неправильно. Однако в этом переводе сохранено то, что Пропп считал необходимым выделить. Ясон и Сегал правильно переводят «персонажи» и «действующие лица» (как «characters» и «tale roles» соответственно), но упускают то, что акцентирует автор. Мало того, цитируя перевод 1968 года, они и там забывают это обстоятельство, правильно переведенное переводчиком того издания.

К тому же их текст повторяет серьезную ошибку, допущенную в переводах 1958 и 1968 годов, о которой я упоминала выше, где важное тождество выражений «действие» и «функция» представлено как противоположность («ни действия, ни функции не меняются»)!

И все-таки статья Ясон и Сегала сыграла свою положительную роль, она привлекла внимание ко вторичному определению волшебной сказки как сказки, строящейся на «7-персонажной схеме».

Глава II

«МОРФОЛОГИЯ СКАЗКИ»: точки зрения меняются

Морфологические исследования фольклора в 1920-е годы

В 1920-е годы советские фольклористы осознавали необходимость нового направления, понимая при этом ограниченность существовавших тогда школ фольклористики. Вне всякого сомнения, в России Пропп был далеко не единственным исследователем, решившимся сконцентрироваться, по крайней мере в начале своей карьеры, скорее на композиционном, чем на генетическом аспекте сказки. Его работа стала как бы логической кульминацией других исследований этого направления. Среди фольклористов, работавших в том же направлении, прежде всего следует назвать три имени: Р. М. Волков, А. Р. Скафтымов и А. И. Никифоров (первый и последний, как и Пропп, особенно интересовались сказкой).

Как и Пропп, Волков [31] понимал, что одним из решающих факторов в определении жанра может быть композиция. Как и Пропп, он почувствовал наличие повторяющейся модели в сказке и воспринимал ее как нечто устойчивое, давно сформировавшееся. Как и Пропп, он считал анализ формы подготовительной стадией исследования исторического или иных аспектов сказки. Однако общность их взглядов этим и ограничивается.

Пропп придает большое значение четкости терминологии и точности аргументации. Волков же в монографии «Сказка: разыскания по сюжетосложению народной сказки», напротив, допускает недостаточно обоснованные предположения и некоторую расплывчатость при формулировании своих основных терминов, поэтому его текст часто двусмысленный и труден для восприятия. Как известно, в «Морфологии сказки» Пропп стремился дать определение волшебной сказки через ее структуру. Одним из основных недостатков исследования Волкова является то, что он принимает безоговорочно традиционную классификацию сказок. Для него фантастическая сказка есть категория абсолютно неоспоримая. Эту категорию он затем произвольно делит на 15 подгрупп, включая подгруппу, которая является главным предметом его исследования, — «сказки о невинно гонимых». Однако достаточно беглого

взгляда, чтобы обнаружить, что его категории не являются взаимоисключающими и часто пересекаются одна с другой. Например, в сказках о трех братьях (категория 3) иногда фигурирует герой-дурень (категория 2), также в них может быть эпизод о змеборстве (категория 4) или добывании невесты (категория 5). В предисловии Волков излагает то, что, по его мнению, является важнейшей целью изучения сказки: «Установить: 1) что в сказке относится к форме, стилю; 2) сюжетные схемы сказок; 3) на основании сюжетных схем выделить те „простейшие повествовательные единицы“, те мотивы, из которых, по тем или иным композиционным приемам, слагаются сюжетные схемы» [там же, с. VI—VII]. Здесь опять проявляется очевидное расхождение между взглядами Волкова, который, по всей видимости, ратует за анализ, движущийся от макро- к микроизмерению, и Проппа, который придерживается абсолютно противоположной методики, начиная исследование сказки с самых мелких повествовательных единиц (функций), постепенно продвигаясь к структуре текста.

В своей монографии о сказках восточных славян, которая была задумана как первая часть многотомного исследования сказки в целом, Волков сконцентрировался на формировании сюжета и к тому же выявил некоторые характерные стилистические черты и особенности. При анализе сказочной композиции Волков последовательно применяет три термина: тема, мотив и сюжет, причем первый и последний толкуются им не совсем традиционно. По мнению Волкова, тема сказки — это «содержание данной сказки — плод личного творчества отдельного сказочника» [там же, с. 4], а сюжет — это скорее всего сюжетный тип. Каждая тема может быть разложена на некоторое количество мотивов. Разнообразие достигается путем «вариации мотивов, подстановкой одного мотива вместо другого, вставкой новых мотивов и т. п.» [там же, с. 5] Однако Волков также замечает, что некоторые темы могут характеризоваться особыми группировками мотивов, которые остаются постоянными. Этот комплекс мотивов, типичный для данной сказки, называется сказочным сюжетом. Если тема — изменчивая, непостоянная форма, то сюжет — стабилен.

Приведем конкретный пример. Волков отбирает пять тем. Это — сказки: 1) о мачехе и падчерице, 2) о подменной жене (сестре или невесте), 3) об оклеветанной жене, 4) об оклеветанной сестре, 5) о герое-дурне. Пятую категорию Волков предлагает в качестве мужской версии других четырех. Названия тем сами по себе подразумевают некое тематическое сходство, но, кроме того, Волков поясняет, что у них — сходная композиция и один и тот же комплекс мотивов. Это позволяет ему прийти к заключению, что все пять тем принадлежат к одному сюжету, который Волков определяет как «сюжет о невинно-гонимых» [там же, с. 67]. Пропп сразу уловил опасность такого подхода, глубоко субъективного во многих отношениях. Трудно не согласиться с критическими замечаниями Проппа, что «сходные сказки, ясно, дают сходные схемы» и что «похожие сказки похожи друг на друга, — это вывод, ни к чему не обязывающий и ни к чему не приводящий» [107, с. 25].

По причинам, изложенным в первой главе «Морфологии сказки» («К истории вопроса»), Пропп отказывается от предложенной Веселовским концепции мотива как основной единицы волшебной сказки. Волков, однако, продолжает развивать идеи Веселовского: «Каждая сказочная тема может быть разложена на ряд простейших повествовательных единиц, „мотивов“ (следуя терминологии А. Веселовского)» [31, с. 5]. Он не определяет, что понимается под термином «мотив», и попадает в ту же ловушку, что и Веселовский, приводя в качестве примеров те элементы текста, которые явно можно подвергнуть разделению на более мелкие элементы. Волков считает, что мотивы бывают двух основных типов: закрепленные за определенными сказками и свободно переходящие из сказки в сказку. Последние являются формульными по типу и сопоставляются Волковым с *loci communes* (общими или постоянными местами), найденными в былинах. Однако это сходство обманчиво. Эпические *loci communes*, без сомнения, формульны, ибо они повторяют информацию в разных песнях фактически одним и тем же языком. Они принадлежат к ограниченному числу ситуаций и не связаны с отдельными сюжетами (или связаны только поверхностно). Их функция — служить в качестве определителя ситуации. Так, например, формульный пир при дворе князя Владимира и похвальба богатырей создают обстановку для постановки задачи герою; седлание и снаряжение коня богатыря служит прелюдией к путешествию, формульное описание скорости, с которой путешествует герой, как бы служит связующим звеном между его отъездом и началом следующего эпизода. Формульные мотивы, приводимые Волковым, — другого порядка. Они отличаются большим количеством, и, несмотря на то что их можно встретить в разных сказках, они в значительной степени связаны с развитием сюжета. В каждой отдельной сказке, в которой встречаются данные мотивы, они формируют интегральную часть определенного сюжета. Более того, они не так уж свободно переходят из сказки в сказку, как предполагает Волков, поскольку они связаны с некоторыми другими сюжетными синтагмами посредством нарративной логики. К примеру: формульный мотив «узнавания» будет иметь место только в тех сказках, где по тем или иным причинам подлинный герой или героиня были подменены ложными; нарушение запрета может появиться только в сказке, в которой на действующее лицо уже был наложен запрет. Волковское определение мотивов слишком неточно, а выбор мотивов — недостаточно обоснован. Доказательством тому может служить мотив «невозможные задачи». Под этим названием произвольно объединено множество сложных задач, которые на самом деле требуют более скрупулезной разработки, поскольку различаются: 1) по своему типу (выбор девушки или предмета из ряда им идентичных, в противовес построению дворца за одну ночь), 2) в зависимости от того, кто их ставит и 3) по своим целям. Между задачами, решив которые, герой получает волшебный предмет, верно выбирает будущую жену, и задачами (в сказках, чья вторая часть повествует об обмане героя и лишении его добычи), которые служат для вскрытия его истинной природы, существует качественная разница.

Заслуживают большего внимания установленные Волковым категории мотивов, которые не кочуют, а занимают в сказке постоянное место (ее начало и конец) и к тому же отождествляются с определенными типами сказок. Эти мотивы Волков называет «завязкой» и «развязкой». Так, например, у общего сюжета о «невинно-гонимых» есть определенный тип завязки, собственной версией которого обладает каждая подгруппа сказок. Так, сказки о «злой мачехе» начинаются с завязки: «Дед-вдовец, имеющий дочь, женится вторично на вдове, у которой тоже есть дочь» [там же, с. 27]. Тем не менее Волков вновь не обозначает параметры этой категории достаточно ясно. Сравните следующие ситуации: а) «Больной царь-отец дает сыновьям (двое умных, третий дурак) поручение достать целебную воду (яблоки молодежывые и т. п.)»; б) «Два брата умных, третий — дурень»; в) «Три брата; два терпят неудачу — третий успеваеет, откуда вражда старших братьев» [там же, с. 29].

Из этих вариантов только ситуация а) отвечает тому, что обычно подразумевается под словом «завязка». Ситуация б) просто обеспечивает фон, то, что Пропп позже определит как «начальную ситуацию» и «состав семьи». Ситуация в) заключает в себе полный, двухчастный сюжет — от первоначальной ситуации и победы героя в конце первой части сказки до предательства его братьев, что обычно формирует тему второй части.

Когда речь заходит о развязке, Волков определяет две группы, которые иногда объединяются в одной сказке. Одна развязка завершает сказку описанием успеха героя. Другая описывает наказание злодеев. Первая развязка бывает двух типов. Один просто предусматривает благополучное завершение приключений героя, тогда как другой, в сказках о гонимой героине, награждает девушку свадьбой с царевичем.

По мнению Волкова, более распространены развязки с наказанием. До некоторой степени эти заключения Волкова выглядят убедительно, хотя и требуют некоторого упорядочения. Во всех русских волшебных сказках (кроме отдельных случаев) есть развязка, в которой герой или героиня торжествуют победу над препятствиями и обретают счастье. Это — постоянное условие. Переменным условием является природа их благополучия или счастья. Свадьба — естественная форма награды и для героя, и для героини. Неслучайно Пропп определяет волшебную сказку морфологически как развивающуюся «от вредительства к свадьбе (или другим функциям, которые служат в качестве развязки)». Второстепенная развязка, включающая в себя наказание злодея, типична только для тех сказок, в которых герой обманут и ограблен, но впоследствии преуспевает в разоблачении предателей (ложных героев).

Несмотря на оговорки, монография Волкова была, без сомнения, новаторской и, вопреки отрицательному отклику Проппа, явно дала толчок его собственным исследованиям.

В отличие от Волкова и Проппа, интерес Скафтымова направлен на былины. Так же как Пропп в отношении сказок, он усматривал в былинах некий лежащий в их основе организационный принцип, который как будто противоречит их кажущемуся разнообразию. Как писал он в своей книге «Поэтика и генезис былин»: «При большой неустойчивости конкретной оболочки в ядре отдельных эпизодов и целой былины всегда сохраняются одни и те же внутренние тенденции» [169, с. 66]. В поисках соотношения между вариативными и инвариантными факторами в создании былины он частично продолжил работу, начатую А. Гильфердингом (1831—1872) по изучению былин Онежского края. Еще Гильфердинг указывал на существование постоянных, или типических, мест и мест переходных, возникающих путем импровизации в каждом былинном тексте.

В основе работы Скафтымова лежат иные, чем у Проппа, цели. Тогда как Проппа интересовало установление жанра через структуральный анализ, Скафтымов пытался восстановить наше восприятие былины как художественного целого и вывести схему, которая обнаружит художественную цель создателя/исполнителя, «изучить», как выражается Скафтымов, «проблемы законов психологии художественно-литературного творчества» [там же, с. 38]. Именно эта идея окрашивает былинную схему, представленную Скафтымовым. По существу Скафтымов сводит сюжет былин о героических подвигах к трем эпизодам: краткая экспозиция или сообщение о драматической ситуации, центральный эпизод (сражение героя с противником) и краткое заключение, часто содержащее восхваление героя. Эти эпизоды и все вспомогательные элементы (которые могут включать гиперболическое описание врага или ретардационные приемы, предназначенные для придания большего значения окончательной победе героя) всегда строятся с одной общей целью: «удивить, поразить слушателя неслыханным подвигом своего героя» [там же, с. 63]. Хотя понимание Скафтымовым сути причин этого феномена и отлично от пропповского, тем не менее интересно отметить, что Скафтымов высоко оценивает действия героя как движущую силу в развитии сюжета: «Исключительная сосредоточенность рассказа на действиях героя создает решительное преобладание динамики над элементами статике» [там же, с. 88].

И Пропп, и Скафтымов считают, что волшебная сказка и героический эпос строятся вокруг подвигов героя. Поэтому будет уместным подытожить первые три заключения Скафтымова, которые связаны с дальнейшими исследованиями Проппа:

1. В центре творческого напряжения былин о богатырских подвигах находится герой-богатырь, а в нем его ратная доблесть и сила.
2. Все действующие лица былины, кроме героя и его противника, выполняют по отношению к главному заданию роль резонирующей среды...
3. Все мотивы, входящие в состав сюжета, в своей внутренней направленности занимают место, иерархически связанное и подчиненное главному заданию выделения героя» [там же, с. 95].

Нет никаких сомнений в том, что из исследований Волкова, Скафтымова и Никифорова работа последнего наиболее очевидно перекликается с монографией Проппа. И Волков (на Украине), и Скафтымов (профессор Саратовского университета) жили далеко от Проппа, что значительно усложняло возможность научного сотрудничества между ними. Никифоров, как и Пропп, жил в Ленинграде. Изданная в 1928 году статья Никифорова «К вопросу о морфологическом изучении сказки» была написана в 1926-м, то есть в тот же период, когда Пропп работал над статьей «Морфология русской волшебной сказки». В то время Никифоров был сотрудником музея Л. Н. Толстого в Ленинграде, а также работал в Научно-исследовательском институте сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока имени А. Н. Веселовского, при университете. Много лет спустя Пропп редактировал и написал введение к сборнику сказок русского Севера, составленному Никифоровым. В этом введении Пропп упомянул работу Никифорова о морфологии, похвалив ее за «хорошо продуманную программу изучения структурных особенностей сказки». По мнению Проппа, ни один ученый, интересующийся структурными законами волшебной сказки, не может позволить себе обойти вниманием статью Никифорова [165, с. 5—24].

В ней же Никифоров считает себя продолжателем новаторских исследований западноевропейских и русских ученых (включая Волкова, Шкловского и Арнольда ван Геннепа), которые в первые два десятилетия XX века предприняли попытки освоения «морфологического» подхода в области структуры сказки. Хотя Никифоров и не объясняет, что подразумевается им под термином «морфологический», но становится ясно, что, в отличие от Проппа и Петровского, он использует это слово скорее в его лингвистическом значении, чем в ботаническом. Однако, так же как и Пропп, он понимает схематическую модель волшебной сказки как вытекающую из действий персонажей. Он ставит своей целью разработку простой схемы, под которую после изучения схематического рисунка действий будет подходить любая сказка. Он считает, что индивидуальные действия в сказке организуются в «ходы» «по категориям, аналогичным морфологическим категориям словообразования в языке». В каждой сказке существует некоторое количество «кругов действия», в каждом из которых присутствует одно центральное действие, наряду со вспомогательными действиями, предшествующими ему в префиксальной роли или происходящими из него в суффиксальной роли [91, с. 175, 176]. Пропп также употребляет термины «ход» и «круг действия». Согласно сказочной схеме, выдвинутой Никифоровым, герой играет центральную роль: «Конкретная сюжетная схема чудесной сказки... определяется основным целеустремлением главного героя». Другие персонажи рассматриваются им как второстепенные и определяются как «помощники» или «враги» в зависимости от их отношений с главным героем. Наиболее важным является высказывание Никифорова относительно «переменности» персонажей сказки, в противоположность инвариантности их действий: «Конкретные персонажи сказки не являются чем-то устойчивым. Они бесконечно изменчивы по вариантам.

Постоянной является лишь функция персонажа, его динамическая роль в сказке» [там же, с. 177, 176]. Это высказывание можно сравнить с замечанием Проппа: «*Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются*» [107, с. 31]. В работе Никифорова, включая и его терминологию, есть много общего с «Морфологией сказки» Проппа. Но сам Пропп подчеркивает, что и он, и Никифоров пришли к схожим заключениям совершенно независимо, и это подтверждают другие ученые, включая Р. Якобсона и Е. М. Мелетинского [196, с. 57]. Возможно, так оно и было, однако схожесть их выводов приводит к размышлениям о возможности их взаимного влияния. По словам К. В. Чистова, Никифоров, как и Пропп, деятельно участвовал в работе фольклорной комиссии Географического общества, на заседаниях которого ученые могли обмениваться мнениями. В «Морфологии» Проппа есть только одна ссылка на существование параллельной работы — упоминание о том, что статья Никифорова находится в печати. Статья Никифорова была лишь наброском для детального морфологического исследования сказки, которое так никогда и не вышло в свет. Было бы любопытно узнать, в какой степени издание книги Проппа в 1928 году помешало этим планам. Пропп объясняет отход Никифорова от морфологического анализа тем, что он стал жертвой антиформалистических настроений, уже проявившихся в конце двадцатых годов [166, с. 12].

В двадцатые годы Р. Якобсон и П. Г. Богатырев также подошли по-новому к изучению фольклора. В совместной статье, вышедшей в 1929 году [220], внимание еще раз обращено на формальные аспекты фольклора и отстаивается подход к типологии устной литературы, который будет признавать ее внутренние законы, достаточно отличные от литературы письменной.

Судьба «Морфологии сказки» в 1930–1950-е годы: годы затишья

Е. М. Мелетинский утверждал, что «Морфология сказки», впервые изданная в 1928 году, «значительно опередила свое время» [82, с. 134].

Как известно, второе советское издание книги вышло в свет только в 1969 году. Существует мнение, особенно распространенное на Западе [см., например: 225, р. 37, 41–43; 262, р. 46], что решению о переиздании способствовали восторженные отклики на первое американское издание «Морфологии», а также то, что первое издание книги Проппа не дошло до широкой публики из-за официального неодобрения властей, по причине которого он был вынужден оставить структурные исследования и обратиться к историческим. В собственной стране Проппа признали только после того, как он стал всемирно известным ученым. К. В. Чистов энергично отвергает такие предположения, заявляя, например, что в предвоенные годы ее («Морфологию сказки». — Э. Э. У.) знал каждый студент ленинградских вузов, интересовавшийся фольклором, и напоминает нам, что с рецензиями на книгу вы-

ступили такие крупные исследователи, как Перетц, Зеленин и Шор [98: 332; 207], а редактором был ученый с мировым именем — В. М. Жирмунский [195, с. 55]. Такие явно противоречивые мнения требуют дальнейших пояснений.

Из трех указанных выше советских рецензентов только Перетц уделил книге Проппа подобающее внимание. В рецензии Шора критических замечаний ничуть не меньше, чем хвалебных. Шор, как критик формалистских убеждений, неодобрительно относится к тем редким моментам, когда Пропп выдает свой интерес к генетическим аспектам своего материала. Это достаточно парадоксально, если вспомнить, что в 30-е и 40-е годы критики-антиформалисты будут упрекать Проппа именно в отсутствии такого интереса. Проформалистская рецензия Шора вышла в периодическом издании «Печать и Революция», которое уже к середине двадцатых годов стало оплотом антиформалистского осуждения, тем самым подтвердив неоднозначность литературных дебатов, развернувшихся в СССР в то время.

Комментарии Перетца — более тонкие. Он признает, что в классификации сказки необходима новая отправная точка, и соглашается с замечаниями Проппа относительно недостатков и ошибок генетического подхода в целом и финской школы в частности. Он видит самобытность методологии Проппа, которая особенно удачна, как полагает Перетц, в третьей главе, где Пропп определяет функции действующих лиц как те инвариантные элементы сказки, которые определяют ее структуру и, в конечном счете, ее жанр. Перетц также обращает внимание на обстоятельство, которое реже комментируется западными последователями Проппа, — на его значительный вклад в понимание взаимосвязей между импровизацией и использованием стереотипов в создании фольклорного произведения.

С другой стороны, Перетц считал, что у Проппа корпус изучаемых текстов (всего лишь сто сказок — и все взяты из сборника «мифолога» XIX века А. Н. Афанасьева) слишком узок в качестве доказательства универсальности его схемы для всех волшебных сказок. Перетц справедливо задает вопрос, были бы результаты столь же убедительными, если бы Пропп использовал материал, взятый из большего количества источников. Кроме того, несмотря на свое настойчивое утверждение, что композиционная структура является одинаковой для всех волшебных сказок, Пропп тем не менее вынужден признать многочисленные исключения. На самом деле их так много, что, как кажется Перетцу, «исключений едва ли меньше, чем правильных или нормальных случаев» [98, с. 190]. Несмотря на эти оговорки, Перетц увидел в «Морфологии сказки» то качество, которое станет впредь одной из самых характерных черт исследований Проппа в целом, — способность будить научную мысль. А это, как считает критик, «самое важное» [там же, с. 195].

Трудно сказать, насколько в действительности была известна «Морфология» в пред-послевоенные годы, а определить, насколько правильно ее оценивали, — еще сложнее.

Во многих общих работах по истории русской фольклористики, включая исследования, касающиеся поэтической формы, так же, как и в более специализированных трудах по русской сказке, имя Проппа часто отсутствует либо упоминается отрицательно в критическом контексте. В обзоре фольклористики СССР за период 1919—1939 годов, сделанном М. К. Азадовским [3], формализму вообще не уделяется внимания. Работе Скафтымова о былинах посвящено несколько абзацев. Что касается формалистского изучения сказки, упоминаются только Шкловский и Волков. О «Морфологии сказки» Проппа не говорится вообще — странное упущение, особенно если учесть тесное сотрудничество двух ученых в Ленинградском университете, где Азадовский возглавлял кафедру фольклористики. В разговоре со мною К. В. Чистов упомянул, что Азадовский мог умышленно пропустить имя Проппа, чтобы не привлекать к нему внимание в эпоху преследования за формалистские настроения.

В своей статье «Советская фольклористика за тридцать лет» [33] Е. В. Гиппиус и В. И. Чичеров вкратце касаются последних исследований Проппа в области генезиса волшебной сказки и опять лишь мимоходом упоминают о формалистском изучении сказки. Что касается «формалистов», специализирующихся в области сказки, поименно упоминаются только Н. П. Андреев, А. И. Никифоров и Р. М. Волков. В своем учебнике «Русский фольклор», отражающем типичное для конца 30-х — начала 40-х годов отношение к изучению сказки, Ю. М. Соколов упоминает «Морфологию» Проппа как одну из формалистских работ по фольклору 20-х годов и добавляет, что формалистский подход Проппа подвергся критике на конференции сектора фольклора Академии наук в Ленинграде в 1936 году [173, с. 109, 115, 327]. В 1950-е годы В. И. Чичеров в книге, написанной по материалу его лекций в Московском университете, комментирует «формально-структуральный» анализ, не упоминая имени Проппа (хотя и упоминает Волкова) [199, с. 120].

Отдельные ссылки на Проппа (как и на Волкова) встречаются в солидном труде Е. М. Мелетинского о герое волшебной сказки (1958) [79]. В книге для учителей «Русская народная сказка» (1959) [6] В. П. Аникин, позже ставший профессором фольклористики Московского университета, даже не упоминает «Морфологию сказки» в первой главе, где он рассматривает определения сказки.

Причин того, что «Морфология сказки» Проппа была отчасти обойдена вниманием критики, было множество, но это отнюдь не значит, что специалисты не были знакомы с данной работой.

Что касается довоенного периода, то есть сведения, что Проппу было известно о недовольстве руководства его «формалистскими» методами. Однако трудно выяснить, в какой степени это его коснулось и насколько в действительности пострадала от этого его научная репутация. Не надо забывать, что не все противники формализма в 20-е—30-е годы слепо выполняли указания партии. Многие искренне поддерживали генетический, биографический, социологический, психологический и, конечно, марксистский подхо-

ды к литературной критике. В своих воззрениях на литературу как на отражение социальных или общечеловеческих процессов или как на средство выражения и распространения мысли именно они являлись подлинными наследниками традиции, господствовавшей в литературных кругах России большую часть XIX века. Также не следует забывать, что не только противники формализма позволяли себе пренебрежительные замечания в печати. Антиформалистская и направленная против позиции Б. М. Эйхенбаума статья П. С. Когана «О формальном методе», напечатанная в «Печати и Революции» [62], была спровоцирована, как он выражается, «полемическими выпадами» самого Эйхенбаума против него [там же, с. 33]. Кроме того, формалисты враждовали и между собой. В середине 20-х годов Эйхенбаум не ладил не только с Коганом, но и с Жирмунским. Шор, хотя и слыл сторонником формального метода, в своей рецензии 1929 года на статью Проппа «Трансформации волшебной сказки» высказывает критические замечания, которые предваряют более серьезные антиформалистские выступления в 1940-х годах. Ко времени выхода в свет «Морфологии» Проппа формализм как направление уже находился в состоянии кризиса, будучи мишенью сил как непосредственно связанных с литературоведением, так и не связанных с ним. В 1928 году вышла в свет работа, которую никоим образом нельзя считать чисто конъюнктурной. Она, напротив, сыграла важную роль в дальнейшем развитии структурального литературного анализа. Речь идет о книге П. Н. Медведева и М. М. Бахтина, где выражены достаточно критические взгляды на историю формализма за последние десять лет. Авторы раскрывают слабые места и изъяны этого направления, недостаток сплоченности и отсутствие перспектив: «Строго говоря, формализм уже надо расценивать как дело прошлого. В нем нет единства. Смолкли воинственные лозунги. Формализмов стало столь же много, сколь и формалистов» [272; см. также: 77].

Учитывая все это, можно предположить, что «Морфология», обойди ее вниманием зарубежные критики, осталась бы относительно неизвестной в России, кроме как в кругу специалистов. Е. М. Мелетинский однажды заметил в разговоре со мной, что «первую книгу Проппа достаточно быстро забыли».

Несмотря на это, было бы несправедливым утверждать, что только западные ученые смогли по достоинству оценить и использовать работу Проппа. Если бы «Морфология сказки» (1958) вышла на английском языке намного раньше, то трудно предположить, что она встретила бы восторженный прием, но к концу 50-х годов в американской фольклористике существовал уже если не кризис, то, по крайней мере, некоторое недовольство историко-географическим методом Стифа Томпсона и его последователей, методом, который играл доминирующую роль в американской фольклористике на протяжении двух предыдущих десятилетий. Мелвил Джакобс, например, жалуется на отсутствие психологических или социологических исследований фольклора, называя историко-географический метод собирания и архивирования материала «смирительной рубашкой». Его возмущала также слабая идеологическая база школы с ее скудной горсткой концептов, таких как мотив, сю-

жет и архетип, ее неспособность построить «зрелую теоретическую систему» [243, р. 277–278]. Клод Бремон тоже писал об «изобилии документации», в которой фольклористы «тонули... накапливая материал в тщетной надежде, что из хаоса в конце концов возникнет что-то вроде порядка» [222, р. 5].

Небезынтересно отметить близость подобных высказываний воззрениям русских ученых 20-х и начала 30-х годов. Первая статья Проппа о морфологии сказки была опубликована в 1928 году в сборнике Фольклорной комиссии Русского географического общества, которую возглавлял академик С. Ф. Ольденбург, крупный авторитет в русской фольклористике, хотя по специальности он был индологом и историком искусств. В Сорбонне в 1929 году на лекции о сказке Ольденбург говорил о заведомой бесплодности методов финской школы и ее неспособности излагать (не говоря уже о способности решать) насущные проблемы современной фольклористики [1, с. 34, 35]. Несколькими годами позже Н. И. Никифоров, как и Пропп, бывший прежде «морфологом», писал о схоластическом, схематическом и механистическом подходе школы, о ее приверженности механическому накоплению фактов в ущерб анализу, о ее методике, которая игнорирует социоисторические корни сказки, так же как и ее эстетическую роль [92].

Второе советское издание «Морфологии сказки»: изменение восприятия на Западе и в Советском Союзе

Ни в Советском Союзе, ни на Западе истинный потенциал «Морфологии» не был понят до тех пор, пока в конце 1950-х годов не была подготовлена для этого почва. Этому способствовали достижения в структуральной лингвистике, семиотике и поэтике, новые структуральные направления в антропологии и этнографии, особенно во Франции и Америке, а также развитие кибернетики, особенно в Советском Союзе. К этому времени работа Проппа уже полностью соответствовала новым критериям ученых, стремившихся привнести принципы точных наук в изучение фольклора.

До того как вышел перевод монографии Проппа на Западе, о структурном анализе литературы и фольклора, особенно последнего, было написано очень немного (не считая новаторских работ Леви-Стросса и Себека). Только в середине 1960-х годов пришло время для структуральных исследований. Многие исследователи тех лет (Дандес, Фишер, Тодоров, Греймас, Хендрикс) подчеркивали «новизну» данного подхода. Кёнгяс и Маранда в 1962 году отмечали замедленность развития структурального анализа фольклора и обращали внимание на то, что даже работы Леви-Стросса и Дандеса в этом направлении «не воспринимались с должным энтузиазмом» [269, р. 136].

Тем временем анализ текста получил параллельное развитие и в Советском Союзе. К моменту, когда, благодаря английскому переводу «Морфологии», в западных структуральных кругах Пропп сделался известным, советская фольклористика уже отказалась от исторического или социологического, ориентированного на содержание метода исследования, типичного для конца

тридцатых, сороковых и пятидесятых годов. Сборник лекций Ю. М. Лотмана [68] по структуральной поэтике вышел в том же 1964 году, что и «Морфология сказок индейцев Северной Америки» Дандеса [235].

Успехи в прикладной лингвистике и кибернетике, в конце 1950-х годов, дали толчок к изменению направления советских исследований по литературе и фольклору. В 1958 году Академией наук был учрежден Научный совет по кибернетике, в состав которого ввели и лингвистов. В круг их интересов входили проблемы машинного перевода с использованием лингвистического моделирования. Многие ранние советские структуралисты, например И. И. Резвин и Ю. А. Шрейдер, подходили к анализу текста, исходя из принципов математического моделирования прикладной лингвистики [208].

В начале и середине 1960-х годов центрами семиотики и структурального анализа текстов стали: Институт славяноведения и балканистики, Институт востоковедения в Москве и Тартуский университет. Естественно, не все исследования в этих областях попали под влияние «Морфологии» Проппа и далеко не все были ориентированы именно на сказку, но многие из них действительно откликнулись на нее. Среди ранних советских исследований, толчком для которых послужили заключения Проппа, можно упомянуть доклад «К реконструкции праславянского текста», прочитанный В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым — специалистами в области индоевропейской лингвистики, сотрудниками Института славяноведения и балканистики — на Пятом Международном конгрессе славистов в Софии в 1963 году [52]. В своем докладе, в котором чувствуется влияние теорий Соссюра, Якобсона и Трубецкого и увлечение авторов моделями мифа и сказки (соответственно Леви-Стросса и Проппа), они предприняли реконструкцию как лингвистической системы, так и порождаемого ею текста. Особенно их интересовали семантические системы древних славянских и индоевропейских мифологий. Реконструкция осуществлялась посредством применения аналитической модели к ряду текстовых уровней (начиная с самого нижнего, фонологического уровня), затем через морфологический, синтаксический и трансформационный уровни — к самому высшему, стилистическому уровню. Каждый уровень был записан с помощью тщательно разработанной системы символов, взятой из языка логики.

Особенно интересными для изучения последующего развития пропповской методологии являются те части доклада, которые касаются стилистического уровня и особенно роли мотива и функции как организующих элементов сказки. Тем не менее надо отметить, что Иванов и Топоров используют термин «функция» в несколько другом смысле, нежели сам Пропп: у них «функцией» является отношение предметов друг к другу. Одна функция, например «причинение вреда», символически обозначается R_5 . «Предметы», встречающиеся в славянской эпической поэзии, изображаются с помощью цифр: „лебедь“ — это 1, „ворон“ — 11 и так далее. Исходя из этого, формулу 11 R_5 1 можно трактовать как «ворон наносит вред лебеди», то есть отношения между двумя предметами определяются посредством ущерба, наносимого одним другому. На-

личие в синтагмах и „функций“, и „предметов“ создает „мотив“; тогда как „текст“ проистекает из сочетания мотивов» [там же, с. 113].

С учетом композиционных заключений Проппа Иванов и Топоров предложили более разработанную, усложненную и систематизированную «универсальную схему» структуры волшебной сказки. Кроме символов, обозначающих функции или отношения (R), а также предметов, участвующих в функциях (герой, злодей и т. д.), существуют дополнительные наборы символов для того, чтобы указать начало, конец и качество функции (позитивное или негативное по отношению к герою) и связи или связующие звенья между первым и вторым типами символов. Эта всеобъемлющая система нотации позволяет Иванову и Топорову точно и подробно воспроизвести все возможные комбинации сюжета. Более важным, однако, чем сама схема, является то, что она позволяет вывести определенные заключения относительно законов, управляющих образованием сюжета. Оказывается, например, что существуют два различных типа функции: те, которые можно описать как сюжетные «функции» в узком смысле слова (такие, как R₂ «запрещение» или R₉ «борение»), и те, которые действуют просто как связи между различными частями сказки. Функции первого типа весьма немногочисленны, их введение в текст ограничено, и именно они придают каждой определенной сказке ее индивидуальность, тогда как функции второго типа могут повторяться едва ли не до бесконечности. Кроме того, исходя из наблюдений над распределением мотивов (то есть комбинации функций и предметов) по тексту в ассоциации с другими мотивами, можно определить, что дозволено в области сюжетопорождения и что нет. Таким образом, например, можно утверждать, что «если и только если жертва нарушает запрет, то наноситель вреда наносит вред жертве» или «если и только если герой приобретает волшебное средство, то он преодолевает последствия вреда, причиненного со стороны наносителя вреда» [там же, с. 115].

Второе советское издание «Морфологии сказки» появилось в значительной степени благодаря усилиям группы советских ученых, которую возглавлял Е. М. Мелетинский (редактор издания) и в которую входили Е. С. Новик, С. Ю. Неклюдов и Д. М. Сегал. На заседании в честь 70-летия Проппа в 1965 году именно Мелетинский особо подчеркнул важность этой ранней работы Проппа в своем докладе «О морфологическом изучении мифа и сказки». Начиная с середины 60-х и в 70-е годы эта группа использовала монографию Проппа как основу для целого ряда положений относительно структуры русской сказки и фольклорных нарративов других народов. Среди них — исследование Д. М. Сегалом (1966) трех мифов североамериканского индейского племени [166]. Правда, его попытки связать структуру с семантическим уровнем текста основаны в большей степени на модели Леви-Стросса, нежели Проппа. Тем не менее Сегал, который, в отличие от многих западных комментаторов, понимал, что «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» Проппа являются двумя взаимодополняющими сторонами одной работы, тоже отдает дань диахроническому исследованию Проппа:

«Проппу удалось вскрыть механизм построения сказки именно потому, что за этим механизмом он видел смысл, олицетворяемый инициационным ритуалом» [там же, с. 19].

В 1975 году, через пять лет после смерти Проппа, под редакцией Мелетинского и Неклюдова вышел в свет сборник материалов его памяти. Статья Е. С. Новик «Система персонажей русской волшебной сказки» [93] весьма существенно дополняет работу таких западных ученых, как Дж. Греймас, Арчер Тэйлор, Геда Ясон и Дэвид Бухан [247, р. 172 ff.; 319; 259; 226]. В этой статье она поднимает вопрос, являются ли функции Проппа и порядок, в котором они расположены, единственным стереотипическим феноменом в волшебной сказке или же вариации в исполнителях функций также подчинены определенным законам и ограничениям.

Пропп утверждает, что функции представляют собой постоянный аспект сказок, тогда как действующие лица меняются. Новик показывает, что обратное также является верным, то есть один персонаж может выполнять целый ряд действий. Более того, она предполагает, что развитие сюжета может определяться не столько последовательностью функций, сколько определенной природой персонажей: «Повествовательный план волшебной сказки может рассматриваться как разворачивание в сюжете тех семантических признаков, которыми обладает персонаж» [93, с. 217]. Этим Новик переносит акцент с *что* или *как* на *кто* в волшебной сказке, так как поведение персонажей скорее зависит от их природы, а не наоборот. Например, схема сказок, в которых герой отличается чудесным рождением, отчасти отклоняется от общей (и, предположительно, исчерпывающей) схемы, выдвинутой Проппом.

Персонажи, включая самые второстепенные, рассматриваются Новик частично как комбинации («пучки») семантических знаков. Каждый из них обладает более чем одним набором характерных черт, и это объясняет их многофункциональную природу: «Полифункциональность действующих в сказках фигур объясняется отчасти тем, что каждый персонаж наделен несколькими признаками, каждый из которых соотносим как с системой действий, так и с системой состояния персонажа, с его статусом (семейным, сословным, личностным)» [там же, с. 218]. Так, например, отец «в состоянии» вдовства может обесчестить дочь и вынудить ее к побегу, тогда как отец, обладающий статусом предка, может оставить своим сыновьям волшебное наследство. Несомненно, действия зависят от того, кто именно их совершает.

Новик рассматривает действующих лиц сказки как элементы сложной семиотической системы со своими собственными постоянными и переменными величинами. До некоторой степени все персонажи волшебной сказки при окончательном анализе являются не более чем атрибутами героя, хотя можно усмотреть фундаментальное различие между персонажами, которые действуют и тем самым развивают сюжет последовательно, и другими, которые являются просто пассивными фоновыми знаками чего-то более важного. Например, жены братьев, появляющиеся в некоторых версиях сказки о волшебном Сивке-Бурке, не имеют другой функции, помимо обозначения семейного статуса своих мужей.

Новик не оставляет без внимания имена персонажей — одну из переменных величин Проппа, — так как они могут содержать существенную информацию относительно, например, характера их рождения (например, волшебного), семейного статуса, действий, совершенных ими, и дальнейшего их поведения в сказке. Хотя каждое действующее лицо представляет собой «пучок» атрибутов, которые фактически могут меняться по ходу сюжета, в каждом отдельном случае выбор атрибутов до некоторой степени ограничен именем персонажа. Например, царевна Белая Лебедь своим именем характеризуется с точки зрения семейного положения (дочь), социального класса (царевна) и волшебной природы (оборотень).

В статье Новик из набора атрибутов, которым обладает каждое действующее лицо, выделены четыре главные группы: личная, семейная, социальная и пространственная. Из них для волшебной сказки наиболее важны личная и семейная группы. В пределах семейной группы главные «коллизии», или конфликтные ситуации, дающие сказке драматический толчок, возникают в результате оппозиции возраста и «родственных отношений».

Таким образом, героем неизменно является молодой человек, тогда как представитель старшего поколения может действовать как советник или «испытатель». Семья может не только делиться на взрослых/молодых, но и подразделяться в зависимости от близкородственных (таких, как родитель) или отдаленных (таких, как зять) связей, а также кровных связей и связей просто через брак. По мнению Новик, именно отношения среди кровных родственников и отношения между ними и свойственниками являются одной из основных коллизий сказки. Например, кровный отец, виновный в инцесте, прогоняет дочь; мачеха преследует падчерицу; старшие дети соперничают с младшими и так далее. Наиболее важной является оппозиция интересов кровных и некровных родственников. Установленная Новик четвертая сфера атрибутов, относящаяся к локализации, также порождает некоторые важные оппозиции как между «своим местом» (например, домом) и «чужим местом» (например, иным царством).

Несмотря на то что, как установила Новик, группировки действующих лиц базируются в некотором смысле на оппозиции определенных семантических сфер, более важным является тот факт, что каждый отдельный образ в одно и то же время способен присутствовать более чем в одной сфере. Например, змей, являясь сверхъестественным существом, попадает, в соответствии с делением Новик, в Группу I («индивидуальный статус», где естественное/сверхъестественное является одной из оппозиций), но он также входит и в Группу II (семейный статус), так как является «неправильным» брачным партнером. Как царь, он попадает в Группу III (сословный статус), а как житель тридесятого царства — в Группу IV (локализация): «Такое „развертывание“ признаков индивидуального статуса позволяет рассматривать персонаж волшебной сказки не только как отдельный пучок признаков, но и как одно из звеньев в непрерывной цепи межсюжетных трансформаций» [там же, с. 241].

Итак, Новик развивает дальше выводы Проппа, вводя парадигматические элементы оппозиции в его синтагматическую схему, и, одновременно, до некоторой степени противоречит ему, показывая, что не только действия, но и природа действующих лиц может порождать развитие сюжета. Ее выводы важны для понимания законов, управляющих формированием сюжетов и их преобразованиями в волшебной сказке. Кроме того, она показывает, что выбор имен, атрибутов и форм исполнителей функций отрегулирован и лимитирован далеко не произвольно, как предполагает Пропп.

Две другие статьи названного выше сборника также откликаются на выводы Проппа. Это — статьи С. Д. Серебряного «Интерпретация формулы В. Я. Проппа» [167] и И. И. Ревзина «К общесемиотическому истолкованию трех постулатов Проппа» [155].

Первая работа, в которой формула Проппа, несколько упрощенная и модифицированная, применяется к индийской сказке «Повелитель крокодилов», впервые была представлена как научный доклад в рамках Второй летней школы по вторичным моделирующим системам Тартуского университета в 1966 году. Она служит напоминанием как о важной роли индологов и востоковедов на стадии раннего развития структурного анализа в Советском Союзе, так и о новаторской работе Тартуского университета в 1960-е годы. В указанной выше статье Ревзин делает предположение, что три постулата, которыми Пропп завершает «Морфологию» (1. Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц; 2. Число функций ограничено; 3. Последовательность функций всегда одинакова), применимы не только к волшебной сказке, но имеют значение на более широком семиотическом уровне. Используя язык символической логики, где действующие лица Проппа становятся «термами», а его функции — «предикатами», Ревзин предлагает общесемиотическую формулировку для первых двух постулатов Проппа, а именно: «I'. Постоянными элементами текста являются предикаты; II'. Число термов незамкнуто, а число предикатов — ограничено» [там же, с. 80]. Подтверждения этому для любого языка на простейшем уровне можно найти в словаре, где «число существительных во много раз превосходит число глаголов». Однако развитие Ревзиным именно третьего постулата Проппа дает больше всего пищи для раздумий. Русская волшебная сказка является лишь одним из многих типов упорядоченных повествовательных текстов, поэтому вполне возможно использование понятия «упорядоченности» в качестве критерия для категоризации различных уровней нарратива. Ревзин предлагает четыре возможных уровня, первый из которых обладает наиболее упорядоченной системой предикатов и включает в себя волшебную сказку. Обнаруживаемая в волшебной сказке высокая степень упорядоченности, при которой каждая функция проистекает из предыдущей, наводит на мысль о предопределенной логической системе, действующей на некоем подтекстовом уровне. Кроме того, эта система может осветить вопрос, который Пропп задавал во второй своей монографии «Исторические корни волшебной сказки», а именно: что в конце концов мотивирует рассказывание сказок? Ответ

Ревзина таков: сказка, как и любая другая вторичная знаковая система, может нести, кроме своей собственной эстетической функции, и коммуникативную функцию. Для рассказчика сказка может выступать как парадигма упорядоченной повествовательной формы. Формальная структура сказки, выявленная Проппом, — со своим прямолинейным движением вперед через ряд конфликтных ситуаций к позитивному разрешению трудностей, — могла также служить там, где рассказывались сказки (вспомним, что в русской крестьянской семье они рассказывались детям в определенный период воспитательно-го процесса), моделью разрешения экзистенциальных проблем взрослой жизни.

Без сомнения, публикация английского перевода основополагающей работы Проппа и огромное влияние, оказанное ею на структурное моделирование фольклора и литературы жанров, стимулировали появление соответствующих исследований в Советском Союзе. Однако было бы значительным преувеличением утверждать (как это делают Исидор Левин и Рейнхард Бреймайер), что «Морфологию сказки» Проппа в его собственной стране забыли, что она была «тем камнем, который отвергли строители» [262, р. 46], и что Пропп был вынужден отказаться от своего якобы предпочитаемого (структурального) метода исследования ради создания диссертации на базе еще не опубликованной исторической части своей рукописи 1928 года [225, 37]. В действительности же научная эволюция Проппа, как и его личная судьба, была гораздо сложнее. Оценивая общественное отношение к Проппу, необходимо отличать предвоенный период от послевоенного. Отношение к Проппу сильно изменилось после войны, в особенности после выступления А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» 14 августа 1946 г., в котором он определил официальное отношение коммунистической партии к литературе.

Глава III

«ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ»: Пропп в пред- и послевоенные годы

В июне 1939 года Пропп защитил диссертацию и ему была присвоена степень доктора филологических наук. Будучи в это время профессором кафедры романо-германской филологии Ленинградского университета, Пропп к тому же стал часто навещать в сектор русского фольклора Пушкинского дома, где собирались ученые разных дисциплин.

В конце 1930-х годов он проводил вечерние занятия и практические семинары по фольклору. Перед войной, в 1941 г., Пропп читал лекции по фольклору для студентов исторического факультета. В его лекциях, как рассказывали мне его бывшие студенты, проявлялся глубокий, неугасающий интерес к проблеме связей между русским фольклором и этнографией. Конечно же, на эти лекции глубоко повлияла и его работа над второй монографией «Исторические корни волшебной сказки».

26 февраля 1942 года Ленинградский университет был эвакуирован в Саратов. Вместе со своей второй женой, свояченицей и маленьким сыном Мишей туда отправился и Пропп. В этом же поезде, в следующем вагоне, ехал и этнограф Н. А. Бутинов, в то время студент, собиравшийся стать аспирантом Проппа, но, как он вспоминал: «Пережив страшные дни блокады, все мы были в таком ужасном физическом и душевном состоянии, что подумать не могли о том, чтобы переходить из одного вагона в другой с целью пообщаться друг с другом». До возвращения из эвакуации в Ленинград 31 мая 1944 года Пропп вместе с семьей жил в Саратове в одной маленькой комнате гостиницы «Россия». Именно в Саратове, как ни парадоксально, Проппу предоставилась возможность целиком посвятить себя русскому фольклору, так как и в этой области, и в области русской этнографии он был единственным специалистом из Ленинградского университета. Все остальные, как сообщил мне Н. А. Бутинов, либо были эвакуированы в другие места, либо умерли от голода во время блокады. Пропп читал лекции и по фольклору, и по этнографии, руководил аспирантами, работавшими в этих двух областях.

По мере приближения линии фронта студенты помогали рыть траншеи. Невзирая на протесты студентов, Пропп, невысокий, хрупкого телосложения

и уже немолодой, в тоненьком пальто, работал вместе со всеми на сильном морозе. Такое же рвение он проявлял и в научной работе, отказываясь от выходных и настаивая на том, чтобы студенты поступали так же, поскольку из-за войны курс обучения был сокращен на год. Занятия Пропп проводил или в своей тесной комнате, или в вестибюле гостиницы. Он отличался удивительной добросовестностью, охотно делился со студентами результатами и методами собственных исследований, воодушевляя их и приобщая к своей системе мышления. Когда Университет вернулся в Ленинград, Азадовский предложил Проппу должность профессора на кафедре фольклора.

Война приостановила публикацию «Исторических корней волшебной сказки», которую планировали издавать тиражом 10 000 экземпляров, и это свидетельствует о том, что ей предсказывали успех. Однако, когда книга наконец увидела свет в 1946 году, политическая ситуация изменилась и реакция критики в большинстве своем была враждебной.

От морфологии к историческим корням

Интерес Проппа к историческим аспектам фольклора не был ответом на критику антиформалистов. Как мы уже видели, Пропп выразил свой интерес к генетическим аспектам исследования сказки в «Морфологии сказки». Этот интерес также проявляется в статьях «Трансформации волшебных сказок» (1928) и «Волшебное дерево на могиле» (1931) [109; 112, с. 128–151], а также в более поздних статьях, по времени ближе к работе над «Историческими корнями», таких как, например, «Мужской дом в русской сказке» [112, 113; 115, с. 67; 116].

В этих статьях обнаруживаются те же две характерные особенности методологии Проппа, которые он использовал при создании «Исторических корней»: исследование устной литературы сквозь призму этнографии и применение сравнительного метода.

Это, однако, не означает, что в «Исторических корнях волшебной сказки» игнорируется важность самой структуры.

В 1-й главе «Исторических корней волшебной сказки» Пропп объясняет, что его структуральное определение термина «волшебная сказка», данное в «Морфологии сказки», являлось предпосылкой для последующих «палеонтологических» исследований: «Под волшебными я буду понимать те сказки, строй которых изучен мной в книге „Морфология сказки“» [141, с. 7].

Именно наблюдения над «ритуальными» аспектами волшебной сказки, ее постоянно повторяющимися элементами, побудили Проппа написать «Морфологию сказки». Тогда его синхронический подход обнаружил композиционную структуру. В «Исторических корнях волшебной сказки», по-существу, Пропп рассматривает ту же проблему, но уже с диахронической точки зрения. Он задает себе такой вопрос: благодаря чему в предыдущей истории формирования волшебной сказки возникает эта явная композиционная общность, что это был за исторический феномен, «вызвавший к жизни волшебную сказку»?

В самой основе «Исторических корней...» лежит структуральная модель волшебной сказки и органически связанного с ней обряда инициации. Разумеется, советские противники Проппа ощутили эту «формалистскую» подоплеку книги и осудили ее. Например, М. Кузнецов и И. Дмитраков в своей рецензии 1948 года отмечали: «Главное состоит в том, что за основу берется абстрактная сюжетная схема, то есть уже с самого начала исследование приобретает откровенно формалистический характер» [65, с. 233]. В действительности же книга Проппа является синтезом синхронического и диахронического подходов.

В первой главе «Исторических корней волшебной сказки» Пропп определяет цели исследования, а именно: «Найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку», выяснить, «каким явлениям (не событиям) исторического прошлого соответствует русская сказка и в какой степени они ее действительно обуславливают и вызывают» [141, с. 5].

Надо подчеркнуть, что в «Исторических корнях» Пропп не старался доказать, что волшебная сказка непосредственно развилась из ритуала, явилась не более чем искаженным пережитком ритуальной практики. «Ни угадывать исторических фактов, ни доказывать их тождество с фольклором мы не будем» [там же]. Он пытался показать, что ритуал, в особенности обряд посвящения вместе со взаимосвязанным циклом верований в загробную жизнь, послужил одним из основных импульсов к созданию сказок и к регулированию их композиционной формы. После детального анализа волшебной сказки как единого целого и с учетом структуральной ее формы, открытой в «Морфологии», Пропп заключает следующее: «Если представить себе все то, что происходило с посвящаемым, и рассказать это последовательно, то получится та композиция, на которой строится волшебная сказка» [там же, с. 330].

Для Проппа было не менее важно определить цель рассказывания сказки. На первый взгляд, эстетический аспект фольклорного нарратива — не в центре внимания автора «Исторических корней волшебной сказки». Тем не менее Пропп сознавал, что сказка в той ее форме, которую мы знаем сегодня, является художественным произведением, вымыслом. Однако он считал, что на начальной стадии развития цель сказки (сказки-мифа) была многофункциональной: она развлекала, а также, путем вечно варьирующихся (хотя и в сущности своей единообразных) символических трансформаций испытаний молодого героя, служила парадигмой поведения в экзистенциальных ситуациях. Очевидно, что в отношении сказок, включающих в себя путешествие героя в «иной» мир и попутное преодоление им препятствий, монография «Исторические корни волшебной сказки» во многом проливает свет на суть символического языка сказки.

На книгу «Исторические корни волшебной сказки» появилась только одна серьезная научная рецензия, написанная В. М. Жирмунским [45]. Рецензия была опубликована до того, как в прессе под влиянием политической ситуации стали звучать враждебные нападки на книгу Проппа. Позже уважающие себя ученые, не желая примыкать к официальным хулителям Проппа,

просто воздерживались от критических замечаний по поводу его книги. Поэтому работа не подверглась серьезным научным обсуждениям и не получила заслуженного признания.

В связи с этим небезынтересно отметить, что в «Герое волшебной сказки» Е. М. Мелетинского ни одна из первых двух работ Проппа прямо не упоминалась, хотя вторая книга, безусловно, сыграла роль в формировании историко-генетического подхода Мелетинского. Действительно, из сказочных тем, явно унаследованных от первобытного общества, Мелетинский выбирает именно обряд инициации — основу теории самого Проппа о происхождении волшебной сказки, изложенной примерно на 10 лет раньше работы Мелетинского. Согласно Мелетинскому, существование сказок, в которых молодые герои попадают во власть злых духов, чудовищ или людоедов, спасаясь только после того, как подвергаются определенным испытаниям, либо когда преодолевают определенные препятствия, наводит на мысль о некоторой общности сказки и обряда посвящения. Это высказывание явно содержит завуалированную ссылку на «Исторические корни» Проппа. Однако начиная с 1960-х годов Мелетинский мог уже открыто выступать как приверженец Проппа, правда на этот раз в области структурального анализа фольклора.

В своей рецензии В. М. Жирмунский, высоко оценивая книгу Проппа, критикует ее, главным образом, за то, что это исследование корней волшебной сказки не учитывает многообразия культурных традиций первобытного общества. Находя убедительным пропповское толкование некоторых отдельных мотивов, он не разделяет мнение Проппа о том, что волшебная сказка может целиком восходить к обряду посвящения.

В этом с Жирмунским нельзя не согласиться. Действительно, временами Пропп допускает небольшие «натяжки» во имя того, чтобы каждая деталь схемы волшебной сказки соответствовала его доводам. Например, его теория инверсий, по которой сюжет якобы соответствует реальности через ее противоположность, предлагает не слишком убедительное объяснение тех случаев, когда сказочный мотив противоречит тому, что происходило в исторической реальности. Так, доводы Проппа звучат убедительно, когда он предполагает, что существует неоспоримая связь между персонажем Баба-яга и смертью и особенно с «временной» смертью юношей, проходящих инициацию. Действительно, в своей вращающейся избушке она как бы сидит между двумя царствами: живых и мертвых. Однако Пропп вступает на зыбкую почву, сопоставляя Бабу-ягу со жрецом обряда посвящения, так как жрец — мужчина, тогда как яга — сугубо женский образ. Несмотря на свою неоспоримую эрудицию, Пропп способен делать заключения, которые не подтверждаются его материалом. Пример этого мы найдем в главе 2. Многие сказки начинаются с какого-либо несчастья, например с похищения женщины из царской семьи. Это часто происходит из-за нарушения запрета не выходить за двери. Перед этим, в целях защиты от окружающего мира, ту, которую похитят, содержали в изоляции, в подземелье или в высокой башне. Пропп объясняет это отго-

лоском бытовавшей в некоторых родовых обществах практики изоляции своего правителя (или царского наследника) в целях защиты его от врагов — реальных или мифических. Однако в этой аргументации есть слабые места. Здесь Пропп широко использует работу Дж. Фрейзера. Но Фрейзер описывает примеры уединения королей и вождей (то есть мужчин) [244, р. 202—205], тогда как в сказках, несмотря на отдельные примеры изоляции царских детей обоих полов (братьев и сестер), все же гораздо чаще мы имеем дело с изоляцией одной царевны. Фактически во всех примерах из сказок, приведенных самим Проппом, действуют только лишь персонажи женского пола.

Пропп и сравнительно-этнографический метод

Для современных российских ученых вторая монография Проппа, несмотря на некоторые оплошности и недостатки, является блестящим примером использования этнографического подхода к фольклору. Этот подход очевиден не только во многих статьях Проппа, но и в двух основных работах, изданных вслед за «Историческими корнями»: «Русский героический эпос» и «Русские аграрные праздники» [122: 124: 145].

Генетические исследования отдельных аспектов сказки существовали и до Проппа, но широта замысла Проппа и попытка проследить генезис жанра в целом, предпринятая в «Исторических корнях», встречается впервые в советской науке. Межэтнический подход Проппа прочно укоренился не только в генетическом, но и, до некоторой степени, в структуральном анализе фольклорных жанров. Он подготовил почву для целого ряда последующих историко-типологических исследований эволюции сказки, в том числе для монографии «Герой волшебной сказки» Е. М. Мелетинского — исследования обездоленных или гонимых героев волшебной сказки: Иванушка-дурачок, девушка-сиротка или падчерица. Мелетинский, вслед за Проппом, считает неоспоримым тот факт, что персонажи сказки, так же как и ее сюжеты, так или иначе связаны с исторической реальностью и что разумное использование межэтнического материала (для него это фольклор американских индейцев и народов Азии, Африки и Океании) поможет пролить свет на древнейшие исторические пласты европейской сказки.

Сравнительно-этнографический метод Проппа выдвинул его в первые ряды исследователей одного из самых важных направлений в русской фольклористике. Компаративизм как метод был представлен до некоторой степени на всем протяжении XIX века в генетических исследованиях фольклора. С 1860-х годов в России, как и повсюду в Европе, значительной популярностью пользовалась «теория заимствований» немецкого востоковеда и компаративиста Теодора Бенфея (1809—1881). В соответствии с ней многие темы европейских сказок были заимствованы из восточной литературы, в том числе из индусской «Панчатантры», откуда они постепенно проникли в фольклор других народов. Под влиянием Бенфея оказалось раннее творчество Веселовского, послужившее, в свою очередь, стимулом для исследований моло-

дого Проппа. Сравнительно-исторический метод лежал в основе академического кредо Веселовского, но он больше, чем Бенфей, верил в то, что заимствование является процессом двусторонним, обращаясь в своем сравнительном изучении русского фольклора и к Востоку, и к Западу. После революции теория заимствований утратила свою актуальность. В 1933 году М. К. Азадовский писал: «Искание заимствований перестает быть прогрессивной линией в свете новых поставленных историей социальных проблем и новой расстановки общественных сил...» [1, с. 34]. Он предполагал, что такое положение сложилось начиная со второй половины 1920-х годов.

В Западной Европе, после публикации в 1871 году работы Эдварда Б. Тэйлора «Первобытная культура» [327], английская «антропологическая школа» и ее последователи бросили вызов «миграционной» теории Бенфея. Эти исследования также основывались на сравнительном методе, применяемом, однако, не для того, чтобы установить пути диффузии фольклорного материала с Востока на Запад, а для того, чтобы установить связи между этнографией и фольклором, между культурой так называемых первобытных народов и фольклором развитых цивилизаций. В своих поисках истоков фольклорных жанров и понимания эволюции поэтических форм Веселовский, пусть и не полностью отказываясь от теории заимствований как одной из причин широкого географического распространения сюжетов, стал широко использовать сравнительный материал из фольклора народов Сибири и в своих поздних трудах разделяет во многом идеи «антропологов».

Пропп не раз попадал под влияние сравнительно-этнографического метода, сначала познакомившись с работами Веселовского, а затем, изучив первоисточники американских и западноевропейских антропологов. Особое уважение он питал к Фрейзеру, не разделяя, однако, мнения последнего, а также других приверженцев «антропологической школы» о том, что существование фольклорных параллелей связано с аналогичными этапами познавательного или психологического развития у разных народов.

С этнографическим подходом Проппа в какой-то мере связана и «мифоритуальная теория». Это направление, также берущее начало в эволюционной антропологии, имело множество последователей в Европе с начала XX века и до конца пятидесятых годов. В некоторых работах, изданных в этот период, выдвигается следующая точка зрения: миф и сказка являются реликтовыми формами, которые либо непосредственно отражают что-то, либо напрямую восходят к ритуалу. Лорд Раглан, использовавший этот аргумент в качестве основного в своей монографии «Герой: исследование традиции, мифа и драмы» (Лондон, 1936), был одним из наиболее ярких защитников мифоритуальной теории, при этом полностью исключая из своих объяснений истоков мифа и сказки не только исторический факт, но и творческое начало.

Две работы о фольклорном нарративе, представляющие это направление: исследование Сентивом сказок Шарля Перро [303] и статья С. Я. Лурье [72] «Дом в лесу» — имеют самое непосредственное отношение к «Историческим корням волшебной сказки». Теория неомифологов была особенно

распространена среди представителей классической филологии, и возможно, что, общаясь с ними, особенно с С. Я. Лурье, также работавшим в Ленинградском университете, Пропп заинтересовался этой теорией.

Пропп, Сентив и Лурье

Ни по объему материала, ни по широте исследования труды Сентива и Лурье не превосходят работу Проппа. Ни тому, ни другому не удалось создать такую сложную и всеохватывающую теорию об истоках сказки, как это сделал Пропп. Каждый из авторов ограничивался объяснением отдельных мотивов, однако все три исследователя пришли к удивительно схожим заключениям, и фактически их работы можно рассматривать как три этапа решения загадки генезиса.

Сентив обнаружил во многих сказках Ш. Перро определенный корпус текстов, восходящих, на его взгляд, к ритуалу инициации. Он сравнивает их с африканскими сказками о Сикуломе, которые сохранили свою органическую связь с обрядами и, таким образом, представляют собой промежуточный этап (вопрос, который позже поднимет и Лурье) между этнографической действительностью и фиктивным миром западноевропейских сказок.

Среди тех элементов, которым позже было уделено более пристальное внимание в работах Лурье и Проппа, можно упомянуть избушку в лесной чаще, на которую Сентив указывает как на место для испытания и инициации. Сам лес, отмеченный Сентивом как повторяющийся лейтмотив сказок, идентифицируется как жилище духов умерших. Пропп придерживается того же мнения: «Более поздние материалы, когда обряд уже давно вымер вместе с создавшим его строем, показывают, что лес окружает иное царство, что дорога в иной мир ведет сквозь лес» [141, с. 45]. Свиное чудовище или людоед, к которому попадают молодые герои сказки, является, согласно Сентиву, отголоском жреческой фигуры, проводившей испытания и в то же время вселявшей ужас в неопитов. На этот пункт обращает внимание и Пропп. Сентив, заметивший, как и Пропп позже, что в сказке людоеды находят детей или подростков по запаху, выдвигает гипотезу, что дети обладают запахом только что посвященных. По мнению Проппа, запах, по которому Баба-яга узнает Ивана, героя волшебной сказки, является запахом живого человека, вступающего в царство мертвых: «посвящаемый испытывался на запах, а впоследствии на запах испытывался пришелец в иной мир» [там же, с. 96]. Сентив, как и Пропп, отмечает параллель между героем волшебной сказки, который был проглочен животным, и символической смертью и воскрешением в обрядах посвящения. Как и Пропп, он связывает роскошные здания в сказке (вроде замка Синей Бороды), где всегда есть одна запретная комната, с племенным «мужским домом», где от глаз непосвященных скрывали сакральные реликвии. Таким образом, и Пропп, и Сентив видели связь между волшебной сказкой и верованиями с одной стороны и практикой обрядов посвящения — с другой, но исследование Сентива в большей степени остается собранием отдельных гипотез.

В «Исторических корнях» Пропп говорит о работе Сентива несколько скептически. Критикует он и Лурье, хотя и признает научную ценность его работы как новаторской. Комментируя ограниченность источников, использованных Лурье, он, например, пишет: «Взято всего два-три типа (главным образом „Спящая красавица“ и гриммовские „Двенадцать братьев“), а весь остальной материал оставлен в стороне. Вследствие этого вся широта этого явления осталась автору неясной. Связь (между сказкой и ритуалом. — Э. Э. У.) значительно шире и глубже, чем это показано в названной работе» [там же, с. 42—43]. Сказанное Проппом, конечно, верно, но во многих случаях выводы и предположения Лурье близки его собственным, поэтому иногда кажется, что он чрезмерно строг к коллеге.

В основе исследования Лурье (так же, как и Проппа) лежат наблюдения над феноменом повторяемости в волшебной сказке, и он, используя метод сравнительной этнографии, попытался связать эти повторяющиеся элементы с феноменами повседневного быта, в особенности с обрядом посвящения, который он идентифицировал как один из наиболее широко практикующихся обычаев. Внимание Лурье фокусируется на часто встречающемся в сказке мотиве «дом в лесу», который Пропп рассматривает в главах 2—4 «Исторических корней волшебной сказки». Лурье, как позднее и Пропп, различает два типа жилища: «лесную избушку» и «дом людоеда», соответствующие в наиболее существенных чертах «большому дому» и «избушке на курьих ножках» Бабы-яги у Проппа.

В лесной избушке (у Лурье) живут дружным кланом братья-охотники. Им прислуживает «младшая сестра», с которой братья иногда вступают в «кровосмесительную» связь. Все эти элементы поднимает и развивает Пропп как в ранней статье «Мужской дом в русской сказке», так и в главе 4 «Исторических корней», в разделах «Лесное братство», «Дом в лесу», «Большой дом и избушка», «Охотники», «Разбойники», «Младшая сестра».

«Дом людоеда», увешанный человеческими черепами и костями, ассоциируется у Лурье со страхом и смертью. Юноши, попадающие туда, могут быть превращены в животных, подвергнуться увечью или символической смерти, могут быть съедены или, чаще всего, «почти съедены» людоедом. Здесь Лурье видит слабое отражение практики посвящения, когда ребенок пожирается предположительно только для того, чтобы позже быть извергнутым живым и уже взрослым. Для Проппа эти образы тесно связаны с избушкой на курьих ножках (и ее разновидностями) Бабы-яги. Это рассматривается в главе 3 в разделах «Лес», «Избушка на курьих ножках», «Увечный палец», «Временная смерть», «Расчленение и оживление». Мотив «поглощения и выхаркивания» Пропп детально рассматривает в главе 7, где разбирается образ змея как людоеда. Также эта тема вкратце затрагивается в связи с зооморфной избушкой Бабы-яги, куда герой входит как бы на символическое «съедение».

Мотив жилищ, имеющих прямое отношение к героям волшебной сказки, и значителен, и сложен. В работе Лурье существует некоторая нечеткость

относительно границы между двумя жилищами: лесной избушкой и домом людоеда. Автор и сам отмечает, что их отличительные черты частично совпадают. Например, и в том, и в другом мальчики могут быть превращены в животных и претерпеть подобие смерти и воскрешения. К тому же, хотя Лурье и раньше указывал на «лесную избушку» как на место, где проистекает совместная жизнь юношей, тем не менее именно «дом людоеда» он выделяет потом как представляющий параллель племенному мужскому дому, где вместе живут новопосвященные мужчины. Пропп тоже допускает существование некоей неопределенности между различными видами домов. Учитывая еще и тот факт, что Пропп использует в основном русский сказочный материал, тогда как Лурье рассматривает сказки и других, как европейских, так и неевропейских народов, этой неопределенностью можно отчасти объяснить, почему общинный лесной дом у Лурье описывается как *маленький*, а у Проппа — как *большой*.

В целом Лурье более осторожен, чем Пропп, и не решается, полагаясь лишь на свою интуицию, объявить о непосредственной связи между европейской сказкой и ритуалами далекого прошлого европейских народов и, тем более, других этнических групп. Он считает, что между ними должен существовать промежуточный этап. Для него, так же как и для Сентива, этот промежуточный этап — африканские сказки о Сикуломе. Проппа, очевидно, не беспокоит отсутствие промежуточного материала. Здесь, вероятно, полезно вспомнить, что «Исторические корни волшебной сказки» являются исследованием не русской волшебной сказки как таковой, а генезиса волшебной сказки как повествовательного жанра вообще. Русские волшебные сказки используются лишь как образцы.

Несомненно, «Исторические корни волшебной сказки» во многом устарели и нельзя согласиться со всеми выводами Проппа. Тем не менее для развития сравнительно-этнографического метода этот труд является ключевым, доказывая ценность междисциплинарного подхода, который не потерял своего значения и в настоящее время.

«Исторические корни волшебной сказки» и политический климат 1940-х годов

Как считал Исидор Левин, докторская диссертация Проппа о генезисе волшебной сказки должна была «скорее восстановить его доброе имя, сняв с него обвинения в формализме, чем принести ему лавры университетского профессора» [262, р. 38]. Если Пропп действительно хотел реабилитировать себя, то он потерпел фиаско. Официальные круги встретили его вторую книгу чрезвычайно враждебно. Среди прочих замечаний сомнению подвергалась лояльность Проппа по отношению к марксизму-ленинизму.

В качестве отправной точки для своего исследования генезиса Пропп берет постулат марксизма, согласно которому «способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы

жизни вообще». Следовательно, он прежде всего должен был обнаружить тот способ производства, который определил форму и содержание народных сказок. Но тут Пропп сразу же столкнулся с серьезными трудностями. Совершенно очевидно, что волшебные сказки, как мы их сейчас понимаем, не обязаны своим происхождением способу производства исторических периодов, в ходе которых они развивались, хотя в них, возможно, и звучат отголоски этих времен. Объясняя это явное противоречие, Пропп приводит слова Маркса о том, что надстроечные явления общества могут с различной скоростью реагировать на изменение экономического базиса. Из этого он заключает, что волшебная сказка действительно была обусловлена экономическим базисом более ранней, догосударственной, или племенной, организации, следы которой в виде современных ей сказок или мифов не сохранились.

Форма «современных» нам сказок, таким образом, может быть объяснена процессом постепенной трансформации исходного материала посредством обращений, противоречий, добавлений и т. п.

На Западе было сделано несколько попыток доказать, что Пропп разделял марксистские взгляды. В своем введении ко второму итальянскому изданию «Исторических корней» [229] Альберто Чирезе, например, критически отзываясь о марксистской ориентации Проппа, выделяя его замечания о взаимодействии базиса и надстройки и его стадияльное понимание исторического процесса как движения от первобытного коммунизма к социализму. Согласно Чирезе, публикация первого издания «Исторических корней волшебной сказки» (1949) в «левой» послевоенной Италии вызвала не только научные, но и чисто политические отклики, в частности, исключительно негативную реакцию итальянских «правых». Бенедетто Кроче, оказавший сильное влияние на итальянскую школу фольклористики, критиковал книгу именно за ее материализм и за неприятие эстетических и идейных критериев при анализе того, что сам Кроче рассматривал как преимущественно художественную форму. Как и можно было ожидать, зная его критическое отношение к сравнительно-этнографическому методу XIX века, Кроче выступил против поиска Проппом истоков сказки в ранних социальных формациях, рассматривая народную сказку скорее как «поэтический организм», создаваемый заново каждым сказочником. Благодаря тому, что Чирезе называет «переоценкой строго материалистических аспектов марксизма» и «возобновлением дебатов о стадиялизме» [ibid., p. 11–12], после появления второго издания «Исторических корней» итальянцы стали более восприимчивыми к якобы марксистским аспектам книги.

А. Либерман в своем введении к книге «Теория и история фольклора» (Миннеаполис, 1984), антологии статей Владимира Проппа в английском переводе, долго и упорно убеждает читателя, что Пропп разделяет марксистские убеждения.

Учитывая культурный и политический фон конца 1940-х годов, интересно сравнить западные заявления о марксистской ориентации Проппа с противоположными замечаниями советских критиков того времени. Они по-

лагали, что Пропп недопонимает марксистскую теорию, на которую он ссылается во вступительной части «Исторических корней», но к которой он не возвращается на последующих 300 страницах, если не брать в расчет самые поверхностные замечания. Пропп был обвинен в «псевдомарксизме» и даже в «антимарксизме», в том, что его идеологическая позиция и методология основаны не на работах Маркса, Энгельса и Ленина, а на разнообразных немарксистских теориях: от мифологической школы до «формализма» Веселовского, от антропологического подхода Фрейзера до позитивистской социологии Дюркгейма и Леви-Брюля.

На самом деле, критическая реакция на «Исторические корни» в Советском Союзе имела мало общего с научной дискуссией, а являлась частью политической кампании, направленной против ленинградской интеллигенции и последовавшей за Постановлением ЦК КПСС о литературе от 14 августа 1946 г. и выступлением Жданова против журналов «Звезда» и «Ленинград» [см.: 319].

Накалившаяся после речи Жданова атмосфера враждебности к западноевропейской и американской гуманитарной науке, а также к тем советским ученым, в чьих работах можно было заподозрить следы «буржуазного космополитизма», еще более сгустилась после директивы Сталина, Молотова и Жданова (от 14 мая 1947 года) руководителям Союза писателей, которая содержала в себе призыв к активной кампании против той части советской интеллигенции, которая якобы испытывала преклонение перед западной культурой. Немедленным откликом на эту речь было выступление на пленарной сессии Союза писателей генерального секретаря А. А. Фадеева [191]. Фадеев резко выступил против пагубного влияния Веселовского, против его компаративизма и преувеличения западного влияния на развитие русской литературы, что привело к «низкопоклонству перед Западом» в советской литературной критике. Он потребовал, чтобы Министерство образования и Академия наук выступили против сторонников, или «попугаев», Веселовского, руководящих литературным образованием в высших учебных заведениях Ленинграда и Москвы. Обращение Фадеева вызвало целый ряд реакционных статей в газетах «Культура и жизнь» и «Литературная газета», а также в журнале «Октябрь», опубликованных в 1947–1948 годах. Одним из первых откликнулся критик В. Кирпотин в своей статье «Об отношении русской литературы и русской критики к капиталистическому Западу», опубликованной в сентябре 1947 года [61]. Вдохновленный выступлениями Жданова и Фадеева, Кирпотин проанализировал литературно-критический метод Веселовского, столь «невыгодно» отличавшийся от метода «революционных демократов» — Белинского, Чернышевского и Добролюбова. По мнению автора статьи, научный метод Веселовского отрицает классовость и народное своеобразие в литературе и, преувеличивая роль литературных форм, типических схем и разнообразных трансформаций в процессе эволюции, является глубоко антиреволюционным по своей сущности. Веселовский выступает в статье как злоумышленник, на котором лежит ответственность за космополитическую на-

правленность современного советского литературоведения, которое, вместо того чтобы сосредоточиться на уникальности русской, и в особенности советской, литературы, все время оглядывается на западные образцы.

Достаточно общие нападки Кирпотина направлены против «многочисленных эпигонов Веселовского, до сих пор еще оказывающих весьма заметное влияние на факультеты наших вузов» [там же, с. 170], однако он все-таки приводит имена двух коллег Проппа: академика В. Ф. Шишмарева, заведующего кафедрой романо-германской филологии (автора книги об Александре Веселовском, вышедшей в 1946 году) [204], и В. М. Жирмунского, члена-корреспондента Академии наук, заведующего кафедрой зарубежных литератур. Вместе с Азадовским Жирмунский подготовил переиздание «Исторической поэтики» Веселовского (1940) и, как сообщил К. В. Чистов, в конце 30-х годов читал спецкурс о Веселовском, накануне празднования в 1938 году столетнего юбилея со дня рождения ученого.

К концу 1947 года кампания против Веселовского и его учеников усилилась и приобрела более острый характер. В статье Дмитракова и Кузнецова «Александр Веселовский и его последователи» [37], вышедшей из печати в декабре, в основном повторялись положения, сформулированные ранее Фадеевым и Кирпотиним о Веселовском, хотя основной удар теперь был направлен против Проппа и его «Исторических корней волшебной сказки». Пропп был представлен как слепой подражатель формалистического подхода Веселовского. По мнению авторов статьи, миф и сказка отражают как комплекс социальных условий, в которых они возникли, так и материалистическое мировоззрение их создателей. Пропп же, под влиянием абстрактной схоластики своего учителя, игнорирует идейное и социальное содержание фольклора, сосредоточиваясь вместо этого на «голой» форме: «У Проппа получились не исторические, а внеисторические корни сказки. Абстрактная сюжетная схема сказки сопоставляется им со столь же абстрактной сюжетной схемой хорошо известного обряда инициации» [там же, с. 171—172]. Подобно Веселовскому, Пропп рассматривает развитие литературных или фольклорных форм как медленный эволюционный процесс, в котором встречаются и вариации тем, и трансформации хорошо знакомых форм, тогда как в реальности это — диалектический процесс, в котором «новое содержание требует новых форм».

Народная сказка — не просто переработка обряда, но «качественно новое явление, порожденное определенными конкретно-историческими условиями, отражающее этап в развитии сознания трудовых народных масс» [там же, с. 173]. Попытка Проппа подкрепить свои аргументы ссылками на работы Маркса и Энгельса отклонена как недостойная серьезного внимания. Статья заканчивается угрожающим напоминанием о том, что сфера культуры находится сейчас на передовой линии борьбы против господства Запада.

Тем не менее протесты и дискуссии еще разрешались, и на собрании филологического факультета Ленинградского университета в январе 1948 года ученые, подвергшиеся необоснованным обвинениям прессой, попытались от-

ветить на критику в свой адрес. Пропп, например, выступил в защиту «Исторических корней волшебной сказки» [4, с. 162]. Помимо уже упомянутой статьи Кузнецова и Дмитракова, Пропп, возможно, был знаком с еще одной их разгромной статьей, которая готовилась к публикации в февральском номере журнала «Советская этнография». Авторы выступили со своей статьей на собрании фольклорного сектора Института этнографии АН в Москве 9 февраля 1948 года. Собрание было специально созвано для обсуждения «Исторических корней волшебной сказки» Проппа.

Прежде всего Дмитраков и Кузнецов указали на то, что подозрительно само по себе даже пропповское определение фольклора. В статье «Специфика фольклора» Пропп писал: «Под фольклором понимается творчество социальных низов всех народов» [118, с. 140], а в «Исторических корнях»: «До революции фольклор был творчеством угнетаемых классов: неграмотных крестьян, солдат, полуграмотных рабочих, ремесленников, мастеровых» [141, с. 5].

Кузнецов и Дмитраков противопоставили определению Проппа более позитивное высказывание Горького: «Фольклор — устное творчество трудового народа» [65, с. 231]. Отсутствие ссылок на Горького, чьи замечания об устной культуре 30-х годов значительно влияли на советский подход к фольклористике на протяжении, по крайней мере, следующих двадцати лет, было, по их мнению, серьезным упущением книги.

Как мы уже видели, на первых страницах «Исторических корней волшебной сказки» Пропп формулирует гипотезу, что сказка была сформирована на основе производственной деятельности, но, поскольку ему не удалось обнаружить какие-либо подтверждения этой гипотезы («В волшебной сказке производят мало и редко»), он переходит к теме, реально его интересующей, — к религиозным культам племенного общества и связанным с ними циклам ритуалов, аргументируя свой подход тем, что религия, в конечном итоге, — институт экономического базиса: «Важна не техника производства как таковая, а соответствующий ей социальный строй» [141, с. 9–10].

Здесь Пропп приводит высказывание Энгельса о религии из «Анти-Дюринга»: «Каждая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергаются, прежде всего, силы природы. Но скоро, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы... Фантастические образы, в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь приобретают общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил» [там же, с. 11, 12]. Затем Пропп произвольно сокращает высказывание Энгельса, оставив только то, что ему требуется для подтверждения собственного тезиса о религии как о социальной структуре: «Религия есть отражение сил природы и общественных сил». Не без оснований Кузнецов и Дмитраков обвиняют Проппа в извращении мысли Энгельса и в особенности в пренебрежении важнейшим словом «фантастический», дважды употребленным Энгельсом:

«О науке мы говорим, что она отражает материальные и духовные закономерности в развитии сил природы и общества, но мы не можем этого сказать о религии, превращающей земные силы в сверхъестественные. Если же исходить из формулировки В. Я. Проппа, то исчезает принципиальная разница между наукой и религией» [65, с. 238]. Если в «Исторических корнях волшебной сказки» Пропп действительно хотел проявить себя как убежденный марксист, то он явно далек от марксизма в том виде, в котором он стал господствующей идеологией в СССР в послевоенный период. Возможно, полезнее тут будет оставить политические ярлыки и дать более широкое определение подходу Проппа. Теоретические предпосылки «Исторических корней» определяются убежденностью Проппа в том, что культурные явления, включающие в себя и вербальные формы, в том числе повествовательные жанры фольклора, в значительной мере обусловлены различными внешними факторами и что они развиваются в пределах исторического контекста. Для Проппа фольклор — это исторический феномен. Еще в 1928 году он исследовал некоторые проблемы исторической эволюции народной сказки в своей статье «Трансформации волшебной сказки».

Другой аспект «Исторических корней волшебной сказки», вызывавший неприятие в условиях того времени, — слабая связь книги с реальным миром. Пропп утверждал, что он искал «основы сказочных образов и сюжетов в реальной действительности прошлого» [141, с. 19], но сфера действительности, которая освещается в его исследовании, — достаточно субъективная. Простые реалистические объяснения фантастического постоянно и настойчиво Пропп отвергал ради более сложных истолкований, соответствующих его основным идеям.

Мы уже упоминали о влиянии Веселовского на этнографический подход Проппа. Однако «палеонтологические» аспекты «Исторических корней волшебной сказки» также частично отражают влияние русской фольклористики первой половины 1930-х годов, когда Пропп начинал работу над своей книгой. В это время многих фольклористов занимали поиски истоков фольклора в далеком прошлом. Приверженцами этого направления фольклор рассматривался как окаменелый реликт древних верований и обычаев. Это течение точно определяет В. М. Жирмунский в 1934 году: «Можно утверждать, что специфическим социальным качеством изучаемого фольклористикой материала является его реликтовый, архаический характер как явления „живой старины“» [43]. Этому способствовала и популярность теорий выдающегося филолога Н. Я. Марра. Азадовский, ссылаясь на этот факт в своем некрологе Марру, скончавшемуся в 1934 году, отмечал: «Лингвист изучает различные „окаменелости“ языка, изучает его пережиточные формы и таким образом вскрывает его путь от самых ранних истоков и начатков. Этим же методом фольклорист определяет путь развития тех или иных сюжетов или образов» [2, с. 11].

Не исключено, что восприятие Проппом сказки как идеологической надстройки как-то связано с Марром. Роль Марра в развитии идей Проппа

будет прослежена более подробно, когда мы приступим к рассмотрению «Русского героического эпоса», в котором чувствуется его влияние.

Однако не надо забывать, что в 1930-е годы возник большой интерес и к изучению современных фольклорных жанров (таких, как революционная песня) и в особенности городского фольклора. Это направление, конечно же, противостояло концепции фольклора как реликта глубокой древности и, в конечном итоге, стало доминирующим после программной речи Горького о литературе на Первом Всесоюзном съезде писателей 17 августа 1934 года, где подчеркивалась ценность фольклора для молодого советского государства. К несчастью, энтузиазм, с которым Горький отзывался в своей речи о фольклоре, оказался своего рода обоюдоострым мечом: с одной стороны, он защищал фольклор от нападков со стороны литературных организаций наподобие РАППа, где к фольклору, как и к религии, относились как к пережитку крестьянского быта, а с другой — после выступления Горького фольклором стали пользоваться как оружием в идеологической борьбе ВКП(б). Горький подчеркивал положительную природу героев фольклора, его оптимизм, отражение в нем классовой борьбы и, сверх того, его связь с общественной и трудовой жизнью народа [97, с. 5—18]. Это привело к политизации фольклора. В деревни направлялось множество экспедиций, где фольклористы выступали в роли просветителей, активно способствуя модернизации старых фольклорных жанров и созданию новых героев, которые должны были и отражать, и прославлять новую советскую действительность. Фольклор и действительность — вот новый лозунг советской фольклористики 30-х годов. Пропп сам воспользовался этим лозунгом в заглавии одной из своих последующих статей [130], возможно, вспомнив критику «Исторических корней» за ее отсутствие связи с действительностью, хотя его статья на самом деле является серьезным исследованием процессов и законов, управляющих взаимодействием «реальной жизни» и фольклора.

В 1946 г. неортодоксальное восприятие Проппом понятия «действительность», пропагандировавшееся в «Исторических корнях волшебной сказки», казалось уже неприемлемым, даже «предательским», поскольку противоречило высказываниям Горького о природе фольклора, к этому времени ставших каноническими. «Исторические корни», отображавшие крестьянский быт, в котором существенную роль играли религиозные верования и обычаи, тогда казались аномальным явлением. Фольклористы теперь редко собирали и исследовали такие фольклорные жанры, как легенды или духовные стихи, отражавшие скорее нематериальное, чем материальное, понимание жизни.

Кузнецов и Дмитраков прекрасно осознавали, что взгляды Проппа на «реальный мир» были очень далеки от советской идеологии 1940-х годов.

В равной степени недопустимым в то время было амбивалентное отношение Проппа к фольклору как к искусству. Если его первую монографию критиковали за то, что в ней рассматривалась структура без содержания, то вторая его работа критиковалась за то, что в ней рассматривалось содержание в ущерб искусству: «Мы видим ее автора в качестве то историка, то этно-

графа... К большому сожалению, мы ни разу не встретили его в роли исследователя народного искусства, народной поэзии! А ведь одна из больших задач фольклористов — исследование истоков человеческого искусства» [65, с. 236]. Сходный вывод был сделан профессором С. П. Толстовым во время открытой дискуссии в институте этнографии, последовавшей за прочтением и обсуждением статьи Кузнецова и Дмитракова «Но сказка — произведение искусства» [173, с. 141].

При работе над «Историческими корнями» Пропп, естественно, рассматривал сказку как вид искусства, но для него это было искусство со своими собственными законами, отличными от законов письменной литературы. Его теоретические взгляды на природу фольклора ясно выражены в статье «Специфика фольклора», опубликованной в том же году, что и «Исторические корни»: «Прежде всего установим, что фольклор есть продукт особого вида поэтического творчества... Короче говоря, фольклор обладает совершенно особой специфической для него поэтикой, отличной от поэтики литературных произведений. Изучение этой поэтики вскроет необычайные художественные красоты, заложенные в фольклоре» [118, с. 141]. Тем не менее, хотя первоначально Пропп и намеревался добавить в «Исторических корнях» главу о поэтике фольклора, «художественные красоты», упомянутые выше, там, несомненно, отсутствуют.

Вопрос о фольклоре как искусстве и, в частности, о роли сказочников как художников занимал фольклористов еще с XIX века. А со второй половины 1930-х годов вплоть до 1950-х концепция фольклора как явления искусства, а не этнографии или социологии, а также концепция исполнителя как художника уже стала преобладающей. Определение фольклора Ю. М. Соколовым, в котором стираются различия между фольклором и «художественной» или «высокой» литературой, очень показательны: «Если термин „литература“ употреблять не в буквальном смысле (письменность), а расширительно, то есть под ним разуметь не только письменное художественное творчество, а словесное искусство вообще, то фольклор — особый отдел литературы, а фольклористика, таким образом, является частью литературоведения» [173, с. 6].

В фольклористике периода, о котором идет речь, опять по инициативе Горького, акцентировались художественные качества фольклора как свидетельство творческих сил трудящихся масс и, сверх того, отдельных творческих личностей, выходцев из народа, которые руководствовались, в сущности, теми же художественными импульсами, что и другие художники: «Как бы велика ни была власть поэтической традиции, по существу, в творческом поэтическом процессе нет принципиального отличия от того, что составляет творческий процесс и в литературе» [там же, с. 13]. М. К. Азадовский, впоследствии заведующий кафедрой фольклора, где работал и Пропп, разделял именно этот взгляд на природу сказки. Еще в 1931 году в предисловии к своему сборнику русских сказок он писал о разрыве с «безличной этнографией» и вхождении в мир «мастеров-художников», «деятелей искусства» [156, т. 1, с. 10]. Подобные взгляды вели к преувеличению значимости

отдельных певцов и сказителей, которых в 30—40-е годы чествовали и почитали как художников-творцов, чьи произведения также можно было использовать в интересах советской власти. В то время когда Пропп работал над «Историческими корнями», он не принимал это во внимание, когда писал о художественной природе фольклора. В статье «Специфика фольклора» он выдвигает две противоположные концепции народного искусства, в одной из которых утверждается, что народное искусство — это особое явление, которое живет по своим собственным законам, что это — явление «общественной и культурной исторической жизни народов», тогда как другая концепция рассматривает фольклор как творчество отдельных индивидуумов или групп. Вторую концепцию Пропп отвергает, добавляя: «Воспитанные в школе литературоведческих традиций, мы часто еще не можем себе представить, чтобы поэтическое произведение могло возникнуть иначе, чем возникает литературное произведение при индивидуальном авторстве» [118, с. 142].

Нетрудно понять, что после выступления Жданова в 1946 году «Исторические корни волшебной сказки» не могли вызвать одобрения идеологов марксизма-ленинизма. Жданов обличал тех советских ученых и литераторов, которые выказывали «подхалимское поклонение ограниченной, мелкобуржуазной литературе Запада»; он настаивал на партийности и идеологической преданности вместо исследовательской объективности: «Товарищи, наша советская литература живет и будет жить ради интересов народа, интересов нашей Родины». Жданов превозносил достоинства революционных демократов XIX столетия — Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Он требовал, чтобы советская литература была направлена в будущее, действовала бы как «маяк, освещающий путь впереди» [319, р. 20, 33, 35].

Если учитывать все эти требования, то очевидно, что «Исторические корни волшебной сказки» далеко не полностью отвечали им. Во-первых, книга является глубоко объективной, в ней Пропп следует только истине, как он ее понимает. Во-вторых, он показывает свое знание западноевропейской научной литературы, обходя при этом вниманием не только труды революционных демократов, но и работы советских критиков.

Пропп исследует источники волшебной сказки, в том числе и русской, но в контексте ритуалов неславянских народов. «Книга профессора Проппа выглядит не как советская, а как иностранная книга», она «антипатриотична», — заявили Кузнецов и Дмитраков [65, с. 235, 239]. Этим обвинениям во время дискуссий в Институте этнографии вторил И. И. Потехин, выразивший недовольство тем, что «национальную специфику сказки проф. Пропп полностью игнорирует» [174, с. 140]. Наконец, Пропп смотрит на волшебную сказку как на конечный продукт исторической эволюции, чьи корни уходят в историческое прошлое, тогда как для Кузнецова и Дмитракова, вслед за Ждановым, «подлинное искусство всегда устремлено в будущее» [65, с. 236].

Еще одна статья, направленная против Веселовского, была опубликована 11 марта 1948 года в газете «Культура и жизнь». Эта статья, вышедшая под заголовком «Против буржуазного либерализма в литературоведении: по по-

воду дискуссии об А. Веселовском» [149, с. 3], стала причиной еще одного заседания Ученого совета филологического факультета Ленинградского университета [51]. Официальная реакция на это заседание была отражена в статье, помещенной на первой полосе «Литературной газеты» 1 апреля 1948 года под названием «Большевистская партийность — основа советского литературоведения» [22, с. 1].

Атмосфера упомянутого выше заседания существенно отличалась от атмосферы спокойного неповиновения, которая характеризовала предыдущее собрание, проведенное тремя месяцами ранее. Обсуждение возглавлял А. Г. Дементьев, заведующий кафедрой советской литературы, выступивший с докладом «За большевистскую партийность в литературоведении» [35]. Дементьев согласился с негативной оценкой, данной Веселовскому газетой «Культура и жизнь». Само по себе это не было чем-то из ряда вон выходящим. Ясным и тревожным сигналом для аудитории послужили другие аспекты его выступления.

Доклад Дементьева был целенаправленным публичным обвинением его же коллег по филологическому факультету. Ссылаясь на «попытки превратить имя Веселовского в икону», отмеченные в «Культуре и жизни», он заявил: «Именно в Ленинградском университете работают ученые, от которых исходили подобные попытки» [там же, с. 78]. В. Ф. Шишмарев, В. М. Жирмунский, М. П. Алексеев, М. К. Азадовский, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, А. С. Долинин, И. П. Еремин, Г. А. Гуковский, И. М. Тронский и, конечно же, В. Я. Пропп — практически весь цвет ленинградского литературоведения — все были названы Дементьевым.

Далее Дементьев дал всем понять, что дискуссии, подобные той, которая произошла в университете в январе и допускала возможность расхождения во взглядах или, по крайней мере, объективность в рассуждениях, были теперь запрещены: «Нужно было не дискутировать с Веселовским, а разоблачать буржуазно-либеральное существо его концепции». Вопрос о Веселовском был выдвинут скорее как политическая, нежели литературоведческая проблема: «Культ Веселовского, хотят или не хотят этого его апологеты, смыкается с международной идеологической реакцией, помогает нашим врагам». Тех, кто поддерживал Веселовского, Дементьев за-клеивал как антимарксистов, антипартийцев, антиленинцев и антисоветчиков. Пожалуй, наиболее зловещими для академической свободы звучали замечания Дементьева о «типах ученых». Теперь это был не просто Веселовский, к которому следовало относиться как к врагу, а определенный «тип ученого», «жрец чистой науки» [там же, с. 79, 80, 81]. В эту категорию, надо полагать, попадал не только Веселовский, но и большая часть аудитории, по крайней мере, самые уважаемые ее представители. Что касается Проппа, то его «Исторические корни волшебной сказки» были отмечены как пример заблуждения, в которое может впасть исследователь, следуя Веселовскому.

Сила Дементьева заключалась не в его репутации как ученого, которая была намного хуже, чем у многих его коллег, а в его положении члена Ленинградского городского комитета Коммунистической партии. Дементьев гово-

рил от лица партии, и аудитория понимала это. Один за другим они отрекались от Веселовского и признавали ошибочность своего пути. Сделав несколько нерешительных и малоубедительных попыток самооправдания («Когда я писал и закончил свою последнюю книгу „Исторические корни волшебной сказки“, я был радостно убежден, что создал настоящий марксистский труд» и «Я не считал себя компаративистом») [51, с. 132], Пропп признал справедливым обвинение в опасном космополитизме, как и все остальные обвинения Дементьева, выдвинутые против него.

В конце заседания Ученый совет вынес на обсуждение ряд предложений о том, какие необходимо принять меры в ответ на высказанную критику. Приняли решение распространять среди студентов идеи, выдвинутые в статье («Культура и жизнь» от 11 марта 1948 г.), учредить внутреннюю цензуру предлагаемых для публикации научными сотрудниками работ, а также лекций и семинаров и способствовать тому, чтобы работники университета могли критиковать западную идеологию в прессе.

Если не принимать во внимание политические нападки врагов Проппа на его монографию, можно было бы и согласиться с тем, что эта книга имеет свои слабые места. Пропп сам считал ее лишь началом, закладывающим гипотетическую основу дальнейших исследований. Он работал с довольно ограниченным и порой недостоверным этнографическим материалом, сосредоточившись на обрядах инициации и верованиях, связанных с путешествием души в загробный мир, и почти полностью исключив другие источники сказки. Эта ограниченность — очевидный недостаток книги. Но для любого ученого, которого интересует не только форма, но и влияние не лежащих в сфере эстетики факторов на создание и развитие форм, «Исторические корни» содержат много открытий. Е. М. Мелетинский, например, отвергая однозначность и универсальность утверждений Проппа, тем не менее, отмечает: «Поскольку через инициации и другие „переходные“ ритуалы в архаических обществах проходит каждый индивид, то сказка с ее интересом к судьбе личности широко использует мифологические мотивы, сопряженные с ритуалами посвятельного типа. Эти мотивы отмечают вехи на пути героя и становятся символами самой героичности. Поэтому неудивительно, что волшебная сказка обязана посвятившим ритуалам рядом важнейших символов, мотивов, сюжетов и, отчасти, своей общей структурой, как это показал В. Я. Пропп» [83, с. 263].

«Исторические корни волшебной сказки» и по сей день сохранили свою актуальность для русской фольклористики. В последнее время, например, выводы Проппа были использованы в области традиционной поэтики. В дискуссиях о вариантных и инвариантных элементах фольклорного текста важная роль отводится условному языку сказки (в особенности волшебной) с его бесконечными повторами. Хотя в течение последних 20 лет многие советские и российские исследования в области языка сказки тяготели к структурализму, в 90-е годы наблюдалось и возрождение интереса к историческим аспектам «формульного» текста. Например, исследование И. А. Разумовой [154]

о ритуальных аспектах языка волшебной сказки, в сущности, диахронично. Разумова разделяет взгляд Проппа на сказку и на определенные аспекты ее языка как на исторически обусловленные. Лингвистические стереотипы рассматриваются ею как часть исторического развития жанра, и для того чтобы изучить их эволюцию, необходимо, согласно автору, иметь некоторое представление о происхождении и развитии жанра в целом. В «Исторических корнях волшебной сказки» Пропп затрагивал вопросы о возможном происхождении некоторых лингвистических стереотипов. Разумова отдает должное Проппу в том, что ему удалось осветить, по крайней мере, один из исторических пластов, отразившихся как в содержании, так и в языке сказки. Тот факт, что стереотипный язык сказки органически связан со стереотипной природой сюжета, принимается автором как само собою разумеющееся, а это, в свою очередь, непосредственно проистекает из заключений Проппа.

* * *

Менее чем через год после того, как Дементьев прояснил позицию ВКП(б) своим коллегам, ситуация в Ленинграде драматически ухудшилась. На совместных заседаниях партийных комитетов города и области, проходивших 21–22 февраля 1949 года по непосредственному указанию самого Сталина, группа руководящих партийных деятелей была обвинена в попытке раскола партии и шпионажа в пользу Запада. Они были сняты со своих постов. Это привело к чисткам в вузах Ленинграда [4, с. 165, 166].

Пропп в это время мог ожидать неприятностей по двум причинам. Во-первых, из-за своих научных взглядов и, во-вторых, из-за своего немецкого происхождения. Его немецкие предки переселились в свое время в Саратовскую губернию России. И действительно, Проппу пришлось пережить серьезные неприятности. Один из студентов публично обвинил его в том, что «он ползал на брюхе перед Западом». Некоторые из его бывших студентов и коллег говорили мне, что он провел несколько месяцев в тюрьме. Но было ли это действительно так — неизвестно. В своем письме ко мне по поводу Проппа (28.12.1992) К. В. Чистов пишет: «Я говорил об этом с В. И. Ереминой и вдовой Г. А. Бялого Ириной Григорьевной — это семьи, наиболее близкие к семье Проппа. Они дружно говорят о том, что никогда не слышали, что Пропп арестовывался или, тем более, был хоть сколько-либо длительно в заключении. Даже когда в начале второй мировой войны немцы интернировались и высылались в Казахстан и Сибирь, Проппа эта судьба миновала. Прозевал какой-нибудь чиновник, и он, как Вы знаете, эвакуировался с университетом в Саратов. Известно, что погибло или сидело множество людей, но некоторых „чаша сия миновала“. Слава Богу, у нас не так логично, как у немцев. Это спасло некоторых людей — к ним принадлежал и В. Я. Пропп — слава Аллаху! Сейчас вообще очень распространено логические заключения принимать за факты — по логике вещей, Пропп как бы должен был быть репрессирован (как немец по происхождению), и делается уверенное заключение,

что так именно и было. Однако годы войны он провел даже в Саратове, рядом с бывшей республикой немцев Поволжья, откуда были выселены все немцы поголовно — и, однако, с ним это не произошло. Загадочно, но факт!»

Судьба Проппа была, конечно, не столь трагичной, как судьба его ближайших друзей. В. М. Жирмунский, Г. А. Гуковский и М. К. Азадовский были уволены, а кафедра фольклора вошла в состав кафедры русской литературы. Азадовский ушел из университета весной 1949 года и умер в 1954 году. Пропп, однако, продолжал работать в университете. Позднее, когда учреждались комиссии по проверке деятельности ведущих советских ученых, Проппа вызвали в Петрозаводск в качестве внешнего консультанта для расследования действий некоторых сотрудников в Институте истории, языков и литературы Академии наук. К. В. Чистов, который в то время заведовал кафедрой фольклора в этом институте, рассказал мне, что местная пресса обвинила его в «космополитических тенденциях» и в том, что он нанес «непоправимый ущерб Карельской культуре». Пропп вступился за него и сумел его защитить.

В оценке репутации Проппа как ученого — и до, и после войны — очень важно мнение студентов — фольклористов и этнографов, слушавших его лекции.

Он был широко известен как выдающийся, неординарный лектор. Студенты Проппа отмечали в разговоре со мной контраст между его манерой читать (он читал по конспектам, изредка глядя вверх, сухо, без эмоциональной окраски, не жестикулируя) и восприятием его слушателей. Содержание его лекций обнаруживало широту его эрудиции и оригинальность его идей. Лекции были построены с безупречной логикой, у него был дар вовлекать в свои рассуждения аудиторию. Он славился тем, что всегда заканчивал свои лекции минута в минуту, и К. В. Чистов делился со мной, не без юмора, что позже, когда просматривал конспекты лекций Проппа уже после его смерти, он обнаружил, что тот точно хронометрировал каждый раздел заранее. Пропп не навязывал студентам свои теории, и тем не менее многие из них безоговорочно следовали за ним. Свои семинарские занятия он проводил дома, в атмосфере взаимоуважения и сердечности, но непременно сохраняя дистанцию. Многие из его бывших студентов остались дружны до сих пор, и, хотя каждый из них сохранил свою индивидуальность как ученый, они образуют легко узнаваемый «пропповский» клан. Сам Пропп никогда не участвовал в полевых экспедициях, но он готовил к ним своих студентов и, будучи страстным фотолюбителем, проявлял и печатал их экспедиционные фотографии.

В заключение можно сказать, что, если в этот промежуток времени, начиная с предвоенных лет и до появления первого английского перевода «Морфологии сказки» в 1958 году, Пропп не был в фаворе у официальной советской критики, он не был и камнем, который отвергли строители [260, р. 46; цит. по: Евангелие от Матфея (Мф: 57)], как выразился о нем Исидор Левин. В 1963 году, после смерти профессора И. П. Еремина, Пропп под давлением коллег взял на себя руководство кафедрой русской литературы, чтобы

таким образом предотвратить появление на кафедре кандидатов-«варягов». Он занимал эту должность до 1966 года, после чего счел возможным передать руководство кафедрой Г. П. Макогоненко, пользовавшемуся репутацией порядочного человека: в 1949 году он отказался доносить на своего руководителя, Г. А. Гуковского. Говоря о кратковременном, но весьма плодотворном заведовании Проппом кафедрой, Чистов отмечал, что хотя у Проппа был мягкий характер, но кафедрой он управлял железной рукой!

Бреймайер предполагал, что Пропп был осыпан почестями в Советском Союзе после выхода в свет американского издания «Морфологии сказки» [225, S. 43]. Однако, когда его кандидатура была выдвинута в 1964 году, Пропп не был избран членом-корреспондентом Академии наук, вопреки тому, что пишет Бреймайер.

Возможно, в этом не стоит усматривать ничего символического. Например, Жирмунский, который в 1949 году пострадал гораздо сильнее, чем Пропп, тем не менее был избран в Академию в том же 1964 году. Любопытно, что Левин, в отличие от Бреймайера, упоминает о том, что Проппа не только обошли наградой в 1964 году, но он даже был вынужден отказаться от участия в Международном этнографическом конгрессе в Москве, которого он ждал «с большим нетерпением» [260, p. 43]. К. В. Чистов вспоминает об этом событии совершенно иначе. По словам Чистова, Пропп отклонил предложение председательствовать на одной из сессий конгресса, стараясь избежать шумихи, связанной с американской публикацией книги, и сторонясь иностранцев, желавших познакомиться с «великим» Проппом. А. Ф. Некрылова и В. И. Еремина, бывшие студентки Проппа, обсуждая со мной этот вопрос, также подчеркивали скромность Проппа и его равнодушие к наградам. О сравнительно равнодушной реакции на восторженный прием его первой книги на Западе рассказывал мне и Е. М. Мелетинский. Пропп сопротивлялся его желанию выпустить в СССР второе издание «Морфологии сказки», к которой автор давно не возвращался. Пропп не особенно следил за структуральными исследованиями и был удивлен, когда Мелетинский представил его работу в этом контексте.

Глава IV

«РУССКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС»: Пропп и дискуссия об исторической природе фольклора

Эволюция былины и стадильная теория

Понимая грозящую ему опасность после публикации «Исторических корней волшебной сказки», Пропп предпринял некоторые предосторожности, чтобы его следующий капитальный труд — «Русский героический эпос» (1955) — выглядел политически приемлемым. В предисловии к этой книге, написанной почти через 10 лет после разгрома антивеселовской кампании, Пропп продолжает осуждать концепции Веселовского как политически вредные, препятствующие развитию советской науки. Когда в 1958 году появилось второе издание книги Проппа, Сталина уже не было в живых, и эти замечания были опущены редакцией.

Этнографический подход к изучению сказки, применявшийся и Проппом, и Лурье, был для Проппа существенной частью более широкой исторической перспективы. Как он писал в статье «Специфика фольклора»: «Фольклор есть явление исторического порядка, и фольклористика есть историческая дисциплина. Этнографическое изучение есть как бы первая ступень такого исторического изучения» [118, с. 147].

«Русский героический эпос» Проппа свидетельствовал о его глубоком интересе к русской былине как жанру. К ней он уже обращался в своей программной статье 1945 года, которая была посвящена эпической традиции некоторых сибирских народов [117, с. 29—30] и как бы предвосхитила будущую монографию. В этой статье проанализированы ранние этапы эпоса гяляков путем сопоставления с шаманскими мифами чукчей, находившихся в ту пору еще на доэпической стадии культурного развития. Вслед за «Русским героическим эпосом» последовали другие статьи: одна, очень близкая по теме к этой книге, была посвящена этапам развития былины [125, с. 3], другая рассматривала былину во взаимосвязи с исторической действительностью [128]. Вместе с Б. Н. Путиловым, во многом разделявшим его взгляды на эпос, Пропп составил и прокомментировал двухтомную антологию текстов былин [27].

В «Русском героическом эпосе» Пропп анализирует различные былинские сюжеты, сгруппированные в соответствии с марксистско-ленинской гипотезой о делении русского эпоса на последовательные стадии исторического развития. В те годы, когда Пропп создавал свои основные произведения, в советском обществоведении безраздельно господствовали принципы исторического материализма. Основные положения этого учения были сформулированы К. Марксом и Ф. Энгельсом во второй половине XIX века с учетом эволюционных теорий Линнея, Дарвина, Спенсера. основополагающая работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) в большой мере опиралась на исследования американского этнографа-эволюциониста Луиса Генри Моргана (1818—1881). Согласно положениям исторического материализма, ставшим в советское время аксиомами, в процессе исторического развития человеческого общества осуществляется последовательная смена общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. Первобытнообщинный строй рассматривался как исходная общественно-экономическая формация, охватывавшая огромный промежуток времени — от возникновения человека как социального существа до появления классового общества — и включавшая в себя несколько периодов: первобытное стадо, матриархат и патриархат. Дальнейшее развитие производства приводит к распаду большесемейных общин, социальному неравенству и возникновению классов.

В 1920—1930-х годах принципы исторического материализма утвердились в советской археологии и этнографии. В те годы советские археологи (В. И. Равдоникас, П. П. Ефименко, П. И. Борисковский и др.) сформулировали принципы стадильной теории, которая, по существу, иллюстрировала смену общественно-экономических формаций археологическими примерами. Так, древнепалеолитическое общество рассматривалось как первобытное стадо, общество эпохи неолита — как матриархат, эпохи бронзы — как патриархат. Вполне естественно, что основные постулаты исторического материализма не могли не повлиять на новую книгу В. Я. Проппа. Вместе с тем необходимо отметить, что к моменту публикации книги Проппа, то есть к середине 1950-х годов, стадильная теория была уже в большой мере преодолена советской наукой. Во многом это было связано с выступлениями Сталина, который в ряде статей подверг резкой критике учение Марра, механически связывавшее развитие языка с общественными процессами. Пропп датировал наиболее ранние эпические темы докиевским периодом, периодом разложения первобытнообщинного строя и возникновения раннеклассовых отношений.

Ввиду отсутствия русских материалов данного периода Пропп, следуя методологии «Исторических корней» и опираясь на стадильную теорию исторического и, параллельно с ним, общественно-экономического и культурного развития, использует фольклор таких народов Сибири, как чукчи, гилаки (нивхи) и якуты, которые находились в предгосударственной стадии

общественного развития как раз в то время, когда их культура впервые попала в поле зрения русских этнографов. Пропп видит в формировании эпического жанра положительное проявление тех идеологических сдвигов, которые в итоге привели к разрушению племенных устоев в пользу семьи и к появлению этнического самосознания взамен племенной самоидентификации. Характерной особенностью зарождающейся эпической формы этого времени, полного конфликтов и перемен, по мнению Проппа, является отказ от мифа. Миф же, показательный для более раннего периода, представлял человека подчиненным власти духов — повелителей стихий. Героями мифа были люди, которым эти повелители даровали возможность хотя бы частично господствовать в мире природы. Для Проппа миф и вытесняющий его эпос представляют собой две противоборствующие, несовместимые идеологии: «Эпос рождается из мифа не путем эволюции, а из отрицания его и всей его идеологии» [124, с. 35]. Этот диалектический подход к прогрессу не был чем-то новым для Проппа. Он уже отмечал нечто подобное в статье «Эдип в свете фольклора», где, рассматривая сюжет мифа об Эдипе, заявлял, что «сюжет не возникает как прямое отражение общественного уклада. Он возникает из столкновения, из противоречий сдвигающих друг друга укладов» [116, с. 141].

Поединки между человеком-героем и противником-чудовищем, представителями соответственно «нашего» и «иного» мира в мифе, отражают бунт против духов — повелителей стихий, утверждают растущий контроль человека над своей собственной судьбой. Однако, по мнению Проппа, доминирующим сюжетом в этот древний период истории эпоса было, тем не менее, добывание героем невесты. С этой целью он путешествует в «иные» миры духов-хозяев, которых он, после трудной борьбы, побеждает, тем самым утверждая создание моногамной семейной единицы, которая в конечном итоге заменит племенное устройство общества.

Как полагал Пропп, вторая стадия развития эпического жанра относится к периоду образования и укрепления Киевского государства. В это время появляются былины так называемого киевского цикла. Пропп понимает эволюцию общества от племенного устройства к государственному как длительный и сложный процесс. Такой же сложной, по его мнению, является и эволюция эпоса. Пропп не утверждает, что былины Киевской Руси происходят из зачаточных форм эпоса догосударственного периода, но допускает, что некоторые из их сюжетов могут рассматриваться как переработка древнейших тем, насыщенных в большей или меньшей мере новым идеологическим содержанием. Наиболее характерным признаком процесса изменений внутри жанра Пропп считает не плавный переход от одного этапа к другому, а столкновение принципов: «Мы и в эпосе должны прежде всего проследить не остатки старого в новом, а конфликт старого и нового» [124, с. 60]. В этом контексте Пропп видит в поединках русских былинных героев: Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Алеши Поповича с противниками-чудовищами: Змеем, Соловьем-разбойником, Идолищем и Тугариным — отголоски позднплеменной темы борьбы между человеком и духами-хозяевами.

Он также устанавливает связь пяти былинных героев с древней темой сватовства. Ими являются: Михайло Потык, Иван Годинович, Дунай, Михаил Казарин и, наиболее важный для Проппа, Садко — бедный гусяр, который становится богатым новгородским купцом. Былину о Садко, которую обычно относят к новгородскому циклу, Пропп считает одной из самых древних по своему происхождению — одновременно и докиевской, и доновгородской. Поэтому он не видит смысла в противопоставлении ее былинам киевского цикла, как это делалось и делается до сих пор в исследованиях былин. Однако Пропп, наверное, ошибается в датировке «Садко», недооценивая влияние волшебных сказок на ее символику, образы и темы, включая и тему сватовства, доминирующую в волшебной сказке.

Для Проппа патриотизм и защита родной земли являются пафосом героического эпоса, достигшего вершины своего развития в России в суровое время татаро-монгольского нашествия. Данный период представляет собой поворотный пункт в истории былины, когда старые темы, унаследованные от докиевского цикла, уже исчерпали себя. «Былины времени татарщины представляют собой качественно иное образование, чем все былины, предшествовавшие им. Традиция сохраняется в применении выработавшегося былинного стиха. Все остальное в эпосе новое, хотя и, до известной степени, подготовленное» [там же, с. 289].

Под общим заголовком «Круг былин об Илье Муромце и Царе Калине» Пропп представляет несколько текстов, связанных темой военного сопротивления чужеземному захватчику. Сюда же включены былины «Добрыня и Василий Казимирович» (в которой протест принимает форму невыплаты дани Золотой Орде) и «Бунт Ильи против Владимира». Хотя последняя не связана непосредственно с татарским нашествием, Пропп рассматривает эту былину как вводную для всего цикла. Былина отражает растущий социальный конфликт между князем Владимиром и боярами, с одной стороны, и народом — с другой. Данный конфликт Пропп считал характерным для периода татаро-монгольского ига.

Следующий водораздел в русской истории и в развитии эпоса Пропп датирует XVI в., ознаменовавшимся окончательной победой над татаро-монголами, перемещением центра власти из Киева в Москву, становлением мощного централизованного государства под управлением князя Василия III (1505—1533) и Ивана IV (1533—1584) за счет завоевания монгольских земель и поглощения последних оставшихся независимыми русских княжеств.

Примечательно, что былины этого периода почти не отразили крупных политических и военных событий времени их создания, эта задача была отведена новому жанру — исторической песне. По мнению Проппа, герои этих былин разительно отличались от героев предшествовавшего периода, поскольку представляли различные слои общества; это были князья, бояре, дворяне, купцы, священнослужители высшего и низшего рангов, «служилые люди», крестьяне, земледельцы и городские ремесленники. Теперь их волновала уже не освободительная война против общего врага, а менее благородная цель —

борьба за свои классовые интересы. Классовый конфликт рассматривается как основная черта этого периода. Так, былина «Микула Селянинович и Вольга» трактуется Проппом как победа истинного «сына земли» над изнеженным землевладельцем, собирателем дани — князем Вольгой. Судьбы героев, например Сухмана, несправедливо заподозренного в предательстве и изгнанного с позором Владимиром, и Данилы Ловчанина, обреченного на гибель ради того, чтобы князь мог завладеть его женой, развенчивают, по мнению Проппа, потускневший образ главы государства. А две истории о новгородском герое Василии Буслаеве рассматриваются как «поэзия бунта».

Два последних раздела «Русского героического эпоса» посвящены соответственно процессу изменения и упадка эпоса в период капитализма в России XIX—начала XX в. и проблемам жанра, специфически связанным с 1930—1940-ми годами. Особое внимание Пропп уделяет спорному вопросу о роли индивидуального творчества в создании фольклора (в частности, творчества исполнительницы былин Марфы Крюковой) и возникновения так называемых «новин»¹, превозносящих подвиги новых советских героев: героев труда, военных и политических вождей, таких как Ленин, Сталин, Чапаев.

В своих работах 1940-х годов Пропп не следовал существовавшей тогда моде преувеличивать роль индивидуального сказителя и затушевывать различие между высоким и народным искусством. Однако «Русский героический эпос» демонстрирует явные признаки интеллектуального компромисса: Пропп восхваляет художественный дар народных исполнителей, таких как Егор Сороковиков и Марфа Крюкова, принятая в Союз писателей в 1938 году. Новины Крюковой, неубедительные в своем соединении традиционных форм и современных героев и идей, тем не менее признаются Проппом скорее фольклором, чем литературными произведениями. Вынужденный, с научной точки зрения, признать принципиальную несостоятельность произведений Крюковой, он ссылается лишь на характерное для сказительницы противоречие между формой и содержанием, умалчивая о других недостатках. Анализируя творческие методы Крюковой, Пропп перестает придерживаться скрупулезного научного подхода в определении параметров дозволенного и недозволенного в обработке фольклорного материала, который он применял в «Морфологии сказки». В конечном итоге, новины Крюковой и подобные им произведения неудачны не потому, что они являются фольклорной формой, как пишет Пропп, приемлемой в 1920—1930-е годы, но уже не соответствующей марксистско-ленинской эстетике 50-х, а потому, что они нарушают баланс между традицией и свободным творчеством в структуре былины. В «Русском героическом эпосе» Пропп попадает в идеологическую западню, поскольку определяет ценность и значимость произведения, исходя не из объективных критериев, а из-за их соответствия политической конъюнктуре.

¹ Термином «новина» обозначались «новые» эпические песни советского времени, для отличия их от «старин», как раньше называли былины крестьяне. О «новинах» см.: [279].

Несмотря на то что очень скоро вышло в свет второе издание «Русского героического эпоса», это была, несомненно, самая слабая из монографий Проппа. Как и остальные его исследования, данная работа также глубоко полемична. Даже Б. Н. Путилов, взгляды которого были близки взглядам Проппа и который в своей рецензии оценивает книгу как «выдающееся явление в советской фольклористике», был вынужден отметить, что она «уже сейчас рождает споры среди специалистов» [150]. В той же рецензии Путилов указывает на одну из главных причин возникновения споров вокруг работ Проппа, называя его ученым со «смелыми» и «острыми» идеями, избегающим «проторенных дорог» в своих исследованиях. Однако даже те, кто расходился с Проппом по частным вопросам, находили с ним общие точки соприкосновения. Например, П. Д. Ухов, который отзывался о книге Проппа достаточно негативно, тем не менее признал, что «в общих чертах, в принципе, схема развития эпоса, представленная исследователем, кажется убедительной» [188, с. 148]. Особенно значимой для П. Д. Ухова показалась гипотеза докиевского происхождения эпоса. Е. М. Мелетинский во многом расходится с выводами Проппа, в особенности относительно взаимоотношений эпоса и мифа, что является ключевым в анализе Проппа начального этапа развития эпоса. И все-таки Мелетинский безоговорочно дает высокую оценку работе Проппа в целом: «Эта книга будит мысль, ставит новые вопросы, а это важнейшее достоинство творческого научного труда. Критические замечания, сделанные нами при разборе труда В. Я. Проппа, ни в какой мере не мешают признать его ценность» [78, с. 182].

Генезис былины

Какие бы возражения ни вызывали отдельные выводы книги Проппа, она внесла ощутимый вклад в три главные области исследования былины: 1) ее генезис; 2) действительно ли былина является историческим жанром, и если так, то как именно она отражает историю; 3) соотношение эпоса и мифа.

Поскольку серьезное и систематическое собирание и запись текстов былин начались только в XIX веке, в то время как события, описанные в них, происходили намного раньше, вопрос о генезисе былин всегда порождал дискуссии среди фольклористов. Исследование истории возникновения былины было главной задачей уже для мифологической школы, одного из самых ранних направлений русской фольклористики. Существовавшие теории неизбежно оказывались противоречивыми и отличались высокой степенью гипотетичности. Как писал П. Д. Ухов: «Не будет особым преувеличением сказать, что заключений и предположений о генезисе эпоса в целом и конкретных его произведений было ровно столько, сколько было исследователей, бравшихся за решение вопроса» [188, с. 148]. Спустя 10 лет после публикации книги Проппа «Русский героический эпос» А. М. Астахова продолжала видеть «проблему происхождения и развития русского былинного эпоса на ранней стадии, в продуктивный период ее жизни, далекой от разрешения в настоящее время» [11, с. 82].

В русской науке есть несколько теорий относительно времени возникновения былины.

Во второй половине XIX века достаточно расплывчатые теории мифологов, возводивших генезис эпоса к общей индоевропейской мифологии доисторического периода, потеряли свою убедительность в связи с более обоснованными гипотезами, объединившими тех ученых, которые впоследствии образовали историческую школу. Тогда большинство исследователей пришло к выводу, что, по крайней мере, основное ядро былин возникло во времена Киевской Руси. Среди ученых, разделявших данную точку зрения, можно назвать такого выдающегося исследователя былин, как Л. Н. Майков, который считал, что большая часть былин появилась в Киеве в период с X по XII век. Миллер, главный теоретик исторической школы и ее представитель в Московском университете, также поддерживал это мнение.

В 1885 году, подытоживая положение, сложившееся в русской фольклористике XIX века, М. К. Халанский отмечает как общепризнанный факт, что былины «киевского» цикла сформировались во времена киевского периода русской истории [193, с. 1], несмотря на то что его собственная позиция была несколько отличной.

При анализе работ советских исследователей былин — современников Проппа, писавших в 40-е, 50-е и в начале 60-х годов, — становится ясно, что датирование большинства русских былин временем Киевской Руси принималось более или менее всеми. Ю. М. Соколов, например, утверждает: «Русские былины первоначально возникли, вероятно, еще в X веке и уж во всяком случае не позднее XI века. Определенные повествовательные мотивы <...> моральные и общественные взгляды, проводимые в былинах, говорят о том, что основная группа военно-героических былин относится к эпохе образования Киевского государства» [172, с. 252]. Крупный исследователь былин А. М. Астахова в книге «Русский былинный эпос на Севере», опубликованной в 1948 году, также считала убедительными свидетельства в пользу Киева [10, с. 16—17]. Правда, П. Д. Ухов в предисловии к своему сборнику былин (1957) высказывается более осторожно: «Какие именно былинные сюжеты сложились в Киевской Руси — с совершенной точностью сказать затруднительно» [190, с. 15]. Автор отмечает, что связь многих былинных сюжетов с двором князя Владимира Святославича вовсе не означает, что они возникли именно в этот период, поскольку в них отражены события и образ жизни как более раннего, так и более позднего периодов. Однако П. Д. Ухов соглашается с тем, что многие былины могут быть отнесены к киевскому периоду. Наиболее важными из них являются былины о Змеех и других чудовищах: «Добрыня и Змей», «Алеша Попович и Тугарин», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», былина о Михайле Потыке. Таким образом, Ухов все-таки признает плодотворную роль Киева в формировании эпического жанра. В предисловии к книге «Эпос славянских народов» (1959) он выделяет целый ряд социальных факторов, подкрепляющих, на его взгляд, такое предположение: рост и укрепление Киева в культурном, торговом и военном отно-

шениях вели к возникновению национального самосознания. Как пишет Ухов: «Великая эпоха выдвинула великих героев-богатырей, отстаивавших свободу и честь своей крепнувшей отчины. Воспевание этих героев и отвечало патриотическому сознанию народа» [199, с. 11]. Сходные взгляды на важную роль Киевской Руси в формировании эпоса были выражены В. И. Чичеровым [197, с. 23; 160, с. 214] и М. М. Плисецким, писавшим в 1962 году, «что данная точка зрения» в настоящий момент является доминирующей [101, с. 82–83]. Подобные взгляды отражали тот факт, что основные идеологические установки большинства былин были связаны с обороной Киевской Руси, с нуждами формирующейся нации и государства.

Современники Проппа выдвинули несколько теорий, относящих генезис былин к более позднему периоду. Наиболее убедительной является теория Д. С. Лихачева, выдающегося исследователя средневековой русской литературы. Несмотря на то что Лихачев убежден в том, что многие сюжеты былин были созданы в киевский период и что художественная форма этого жанра сформировалась уже к XIII веку, он тем не менее считает, что процесс формирования циклов былин вокруг образа князя Владимира Святославича произошел только к концу XIV века, во время распада Киевского княжества и подъема Москвы в борьбе за освобождение русских земель от татаро-монгольского ига. Лихачев признает, что роль Киева усилилась как патриотический призыв к объединению против общего врага: «Русский эпос собирается вокруг Киева и Владимира, как русские земли собирались вокруг Москвы и Московского князя. Это была все та же всепроникающая идея обращения ко временам национальной независимости, которая пронизала в конце XIV и XV в. всю русскую политическую жизнь, все русское искусство, всю русскую литературу» [70, с. 115]. Благодаря этому киевский период былин стали воспринимать как «эпическое время», в котором разворачивается действие большинства былин, независимо от действительного времени их создания.

Другая гипотеза, которую первоначально выдвинул в XIX веке М. К. Халанский, затем развил в своих трудах С. К. Шамбинаго в 1900-х [см., например: 201; 202], а потом вернулся к ней в 1940-х, заключалась в том, что былины обрели известную нам сегодня форму только в XVI, а в некоторых случаях — даже в XVII веке. Но у гипотезы М. К. Халанского было мало сторонников.

В данном контексте становится ясно, что, выделяя период до образования Киевского государства как доминирующий в эволюции героического эпоса, Пропп вызвал огромный интерес и оживленные споры. Ухов в своей рецензии на «Русский героический эпос» пишет: «Особенно свежими, принципиально новыми представляются соображения автора о предыстории русского эпоса — эпосе докиевского периода» [188, с. 148].

В этом смысле Пропп был в значительной степени первопроходцем, хотя оригинальность его концепции была поставлена под вопрос М. М. Плисецким, который предложил сходную гипотезу в статье 1940 года [102] и в послевоенных работах.

Отношение к новаторскому подходу Проппа среди советских фольклористов было неоднозначным. Б. Н. Путилов, ведущий специалист в области эпоса, по-видимому, был готов принять и концепцию раннего происхождения былины в целом, и более конкретное предположение о возникновении былины как своего рода идеологический протест против мифа. Этот взгляд, впервые выраженный в рецензии Путилова на книгу Проппа, подтверждается в предисловии, подготовленном совместно с Проппом для двухтомного сборника былин (1958) [27, т. 1, с. XXX—XXXI]. Даже 20 лет спустя Путилов [182, с. 13] по-прежнему с уверенностью утверждал, что Пропп доказал связь между наиболее древними былинными сюжетами и сюжетами эпических легенд народов Сибири и Крайнего Севера.

Рецензия Ухова менее категорична. Допуская возможность того, что некоторое подобие эпоса могло существовать и у древних славян и что чрезвычайно сложная былинная форма киевского периода вряд ли возникла из ничего, он рассматривает как достаточно рискованную и требующую значительно более тщательного исследования попытку Проппа охарактеризовать природу докиевского эпоса и путь его эволюции из доисторического в конкретно исторический период.

Наиболее глубокая из трех рецензий на книгу Проппа, опубликованных советскими исследователями, принадлежит, на мой взгляд, Е. М. Мелетинскому. Мелетинский выразил некоторые сомнения по поводу первой стадии эволюции эпоса, выделенной Проппом, принципиально не соглашаясь с его интерпретацией взаимоотношений между мифом и эпосом. Мелетинский не принимает противопоставление мифа эпосу и считает преувеличенной оценкой Проппом эпического героя как активного и воинственного персонажа в противоположность мифическому герою, обрисованному им как пассивный получатель даров от духов-хозяев, властвующих над ним. По мнению Мелетинского, пассивность как характеристика мифического героя получила надлежащее развитие только в поздних шаманских легендах, где она несла ритуальную функцию, в религиозных мифах культурных народов и в некоторых волшебных сказках. Он не согласен с Проппом, когда тот выдвигает концепцию дуалистичности мироздания как типичную характеристику мифа, указывая, что в мифе на ранней стадии его эволюции не существует качественного различия между реальным миром, который может содержать и фантастические элементы, и миром духов, который может изображаться достаточно прозаическим способом [78, с. 180]. В своей монографии «Происхождение героического эпоса» (1963) Мелетинский идет еще дальше: он считает, что многие архаические сказки далеки от простого противопоставления двух миров, реального и «иног», в котором герой, согласно Проппу, вынужден выбирать себе невесту; они часто изображают множество миров, доступных герою, в которые он входит и выходит без всяких затруднений и где он вовсе не обязан выбирать себе брачного партнера [80, с. 17].

Мелетинский оспаривает и представление Проппа о чудовищных противниках эпического (сказочного) героя как о более поздних, выродившихся

или символических версиях духов — повелителей стихий, потерявших свое сакральное значение. Наоборот, он считает, что многие сказки о битве с драконами или о мальчиках, побеждающих свирепых лесных людоедов, можно обнаружить у тех народов, для которых жертвоприношение драконам и другим чудовищам продолжает существовать в религиозно-обрядовой практике.

В то время как Пропп признает только миф и эпос, причем противопоставленные друг другу, Мелетинский вводит третью категорию — мифологический эпос: «Принципиальное отличие мифологического эпоса от классического героического заключается в том, что пафосом первого является борьба с природой, а второго — историческая борьба за племенную и национальную консолидацию» [78, с. 180].

Очевидно, Мелетинский не согласен с тем, как Пропп интерпретирует раннюю стадию эволюции героического эпоса. Он также отвергает то особое значение, которое Пропп придает теме сватовства и добывания невесты как доминирующей для раннего, добычинного эпоса, в особенности оспаривая предположение Проппа о том, что эта тема отражает процесс установления малой моногамной семьи как идеальной общественной единицы, противостоящей племени и в конце концов заменяющей его. Суждение Мелетинского достаточно категорично: «Далее в эпосе никогда не изображается основание моногамной семьи» [там же]. Такая тематика, подчеркивает Мелетинский, гораздо больше соответствует волшебной сказке.

Однако, несмотря на довольно существенные оговорки, касающиеся деталей докиевского эпического периода, Е. М. Мелетинский, как, кстати, и Жирмунский, остался последователем именно этой линии исследований в советской фольклористике [см., например: 46]. Мелетинский признает новаторскую роль Проппа в этой области: «Оставляя в стороне отдельные спорные моменты, содержащиеся в работах В. Я. Проппа и В. М. Жирмунского, необходимо отметить, что их труды в общетеоретическом плане „открыли“ архаическую героическую эпическую поэму и дали картину важнейших процессов формирования эпоса» [80, с. 19]. Все трое ученых принимают как аксиому то, что исследования генезиса эпоса необходимо начинать, насколько возможно, среди народов, сохранивших до наших дней или до сравнительно недавнего времени эпическую традицию. В Советском Союзе это были народы тюрко-монгольского происхождения в Сибири и Средней Азии. Жирмунский называет такой подход ключом ко всей проблеме эпоса [46, с. 195].

Жирмунский, как и Пропп и Мелетинский, предлагает эволюцию тем и сюжетов от мифа к классическому героическому эпосу и разделяет мнение Мелетинского о существовании промежуточных жанров между ними. По Жирмунскому, такой промежуточный жанр — «богатырская сказка». Однако Жирмунский рассматривает процесс эволюции как достаточно постепенный переход от волшебного и сверхъестественного к более реальному и исторически достоверному, тогда как для Проппа это — вопрос конфликта и противостояния, поскольку идеология мифа и идеология эпоса, по его мнению, несовместимы. У Проппа миф и эпос отличаются остротой конфликта,

в который вовлечен герой: «Чем яснее в мифе выражен момент подчинения, тем миф древнее и тем сильнее в нем сказываются представления собственно религиозные. Наоборот, чем резче в мифе выражен момент борьбы с природой и ее хозяевами, тем он новее, позднее и тем ближе он к эпосу, тем сильнее в нем выражено начало собственно антирелигиозное» [124, с. 35]. Разницу подходов двух фольклористов можно увидеть, сравнив их отношение к теме, которую оба считают чрезвычайно важной для истории эпоса, — добывание героем невесты. Для Жирмунского эта тема является одной из главных связующих тем между мифом, двумя сказочными жанрами (волшебным и героическим, или «богатырским», согласно его терминологии) и настоящим эпосом. Если здесь имеется различие, то оно состоит в том, что на ранней стадии путешествие героя и трудности, с которыми он сталкивается, представлены в самом фантастическом виде, тогда как в более поздних героических сказках, когда «варварское» общество уже достигло своей наивысшей точки развития, испытания героя становятся более конкретными, отражая реальный исторический факт физических состязаний между соперничающими претендентами-женехами.

Жирмунский, основываясь большей частью на южнославянском эпосе, отвергает утверждение Проппа, что женитьба героя не является подходящей темой (в отличие от «догосударственного» эпоса) для подлинного героического эпоса (то есть былины). Русская былина «Соловей Будимирович», в которой герой успешно сватается к племяннице князя Владимира Забаве, не такое существенное исключение, как считал Пропп, ибо: «Сватовство как основание брака и семьи, этой важнейшей ячейки общества, отнюдь не противоречит теме национально-государственной (защита родины от врага-насилыника), она сплетается с ней, как в действительной жизни» [46, с. 109].

Подобно Проппу и Жирмунскому, Мелетинский ищет корни героического эпоса в эпосе доклассового общества и, как и они, пытается определить характер отношений между наиболее архаическими формами и героическим эпосом как таковым.

В упоминавшейся выше монографии «Происхождение героического эпоса» Мелетинский вносит в свою раннюю критику Проппа некоторые поправки. Одним из ранних типов мифического героя, который Пропп обходит вниманием, является герой «культурный», которому Мелетинский, напротив, приписывает большую важность. В своей рецензии Мелетинский упрекал Проппа за преувеличение пассивной роли мифического героя, указывая, что «культурные» герои, к примеру, часто крайне активны и используют как физическую силу, так и живость ума, чтобы перехитрить врагов. Однако в более поздней своей работе Мелетинский как бы приближается к позиции Проппа, допуская, что постепенная «активизация» героя действительно является одним из движущих факторов в эволюции безликого героя архаической сказки, или «мифа-былички», в богатыря героической былины [80, с. 77–78]. Теперь Мелетинский предполагает, что строгое приписывание Проппом пассивности мифу и активности эпосу могло основываться на его неправиль-

ной классификации чукотских и нивхских материалов, которые далеки от мифа и эпоса соответственно, как их определял Пропп, и являются, возможно, только различными эволюционными стадиями сказки.

Мелетинский, как Пропп и Жирмунский, подвергает проверке тему сватовства в контексте «миф-против эпоса». Пропп предположил, что тема сватовства в архаическом эпосе и тема путешествия героя в далекий «иной» мир для освобождения невесты от обитающих там чудовищ отражали как переход от племенных сообществ к установлению моногамной семьи, так и преодоление ценностей и влияния мифа. Как и по отношению к вопросу «активизации героя», Мелетинский и к этому пункту в «Происхождении героического эпоса» относится менее категорично, чем в своей рецензии. В монографии он допускает, что тема сватовства героя в далеких землях на самом деле является характерной особенностью ранних форм эпоса и что она действительно в какой-то степени отражает переход к моногамии. Однако, как он считает, эпические странствия героя отнюдь не отражают победу малой семьи над более древними родовыми формациями, а наоборот, символизируют трудности, которые герою необходимо преодолеть при реализации требуемого традицией экзогамного брака; вовсе не отвергая племенных традиций, герой, сватая невесту вне своей племенной группы, выбирает традиционную форму женитьбы, соответствующую закону племени. Смысл женитьбы, по Мелетинскому, состоит в том, что она как бы идеализирует племенную форму экзогамного брака в тот период, когда существовавшая система уступала место новой системе брака — покупкой [там же, с. 266].

Хотя Мелетинский в принципе согласен с Проппом в том, что некоторые формы эпоса существовали и в первобытнообщинном строе и что корни некоторых элементов русской былины могут быть прослежены вплоть до этого периода, его мнение о том, что представляет собой этот эпос, существенно отличается от мнения Проппа. В то время как Пропп предполагает прямой эволюционный путь, пусть и прерывистый и неровный, от племенной стадии к киевскому периоду, Мелетинский категорически утверждает, что «подлинный героический эпос (с особенным, присущим ему типом героя-богатыря, с народно-эпической формой и специфическим характером взаимоотношений эпического героя и эпического коллектива) отсутствовал в доклассовом обществе» [там же, с. 92].

К такому же выводу приходит и историк Б. А. Рыбаков. В своем исследовании русской эпической традиции [161, с. 12] Рыбаков рассматривает племенные эпические формы, «сказания», часть из которых датированы V—IV веками до н. э. и которые сохранились только во фрагментах в русских летописях XI и XII веков н. э. Хотя в былинах и народных сказках могут быть обнаружены отголоски этого раннего эпоса, он является, по мнению Рыбакова, совершенно самостоятельным жанром.

Пропп и историческая школа

В методологическом введении к «Русскому героическому эпосу» Пропп заявляет: «Историческое изучение эпоса будет состоять в том, чтобы раскрыть связь развития эпоса с ходом развития русской истории и установить характер этой связи» [124, с. 19]. Вопрос историчности русского эпоса был и остается предметом дискуссии в русской фольклористике. Актуальность данного вопроса через четверть века после выхода в свет «Русского героического эпоса» ясно показана в работах В. П. Аникина [7] и С. Н. Азбелева.

В предисловии к книге Азбелева «Историзм былин и специфика фольклора» Н. И. Кравцов напоминает, что «проблема историзма былин — одна из самых важных, сложных и спорных в фольклористике. Столетие идут споры вокруг нее» [5, с. 3]. Отношение Проппа к этому вопросу окрашено его стремлением открыть в фольклоре закономерности эволюции, соответствующие в данном случае закономерностям исторического процесса. Взгляды Проппа на былинку представляют направление исторического исследования фольклора, существенно отличающегося от подхода исторической школы, которая господствовала в анализе фольклора с конца XIX века до середины 1930-х годов и которая была в большей степени занята установлением исторических деталей.

При определении вклада Проппа в исследование историчности былин необходимо иметь в виду несколько обстоятельств. Одним из них является официальная критика исторической школы, последовавшая за публикацией в «Правде» [см., например: 68] и «Литературной газете» в ноябре 1936 года ряда отрицательных отзывов на пьесу Демьяна Бедного «Богатыри». Пьеса была заказана Камерным театром в качестве либретто для новой постановки комедийной оперы Бородина. В ней Бедный изобразил героическое русское средневековье в шуточном, даже несколько сатирическом, виде под влиянием исторической школы и все еще модной теории об аристократическом происхождении фольклора, согласно которой богатыри принадлежали к высшим слоям общества. Более того, Бедный изображал богатырей беспомощными и трусливыми. Его обвинили в написании глубоко антипатриотического произведения, грубо искажающего русскую историю. Д. Бедный был исключен из партии и лишен возможности печататься. В результате резко ослабла поддержка исторической школы в печати, а ненаучные, политически мотивированные обличительные нападки на школу стали нормой.

Типичным примером последних была статья И. Дмитракова 1950 года [36], направленная против теории аристократического происхождения фольклора, выдвинутой В. Ф. Миллером в начале 1890-х. Эта теория получила дальнейшее развитие в советский период в работах самого Миллера и многих его последователей, из которых Дмитраков, в частности, избрал мишенью для нападок В. А. Келтуяла [60].

«Реакционной» и «буржуазной» называет Дмитраков историческую школу, а заодно и другие направления фольклористики, включая компаративизм и формализм как западного, так и дореволюционного российского или

советского происхождения. Совершенно ясно, что для Дмитракова уничтожение исторической школы было одной из главных политических задач дня.

Кроме того, существовали и вполне обоснованные разногласия среди самих фольклористов по вопросу о том, насколько правильны взгляды исторической школы на отражение русской исторической действительности в былинах. Оба этих фактора оказали воздействие на монографию Проппа.

В «Русском героическом эпосе» Пропп поддерживает официальное осуждение исторической школы. Он или полностью игнорирует, или умаляет значительные достижения этой школы — как общетеоретические, так и связанные с анализом конкретных былин.

Критикуя последователей исторической школы, Пропп опирается, в частности, на аргументацию А. П. Скафтымова, одного из первых ученых, указавших на недостатки их методики. Работа Скафтымова относится к более ранней волне критики исторической школы, начатой формалистами в 1920-х годах, и, таким образом, есть немалая доля иронии в том, что Пропп опирается именно на нее. В первой главе книги «Поэтика и генезис былин» (1924) Скафтымов дает подробный критический обзор методов и заключений различных представителей исторической школы. Особенно не приемлет он методологию В. Ф. Миллера, отмечая, что сходство между историческими фактами и былинами, якобы обнаруженное Миллером, часто является не чем иным, как простым совпадением имен. Наряду с работами Миллера, подвергаются критике работы А. В. Маркова, С. К. Шамбинаго и Б. М. Соколова. Скафтымов отвергает все аргументы Миллера и Маркова о связи былины «Камское побоище» с реальной битвой 1223 года на реке Калке² с таким же энтузиазмом, с каким это делает Пропп 30 годами позже в «Русском героическом эпосе».

Скафтымов, однако, далеко не полностью отвергает труды исторической школы, и, хотя он считает спорным предположение о том, что былины запечатлевают подробности специфических исторических событий, суть былины он представляет себе совсем иначе, чем Пропп. Это сразу станет ясным, если мы обратимся к двум сравнениям, которые использует Скафтымов при описании былин. Одно из них — это дрейфующий без якоря корабль, а второе — текущая вода: «в былине все течет» [170, с. 36]. Такой взгляд противоречит более конкретному представлению Проппа о связи былины со стадиями исторического развития.

Несмотря на свой скептицизм, Скафтымов не отрицает полностью возможность существования связи между былиной и реальной жизнью в прошлом. Он указывает, например, на то большое значение, которое сами певцы придают эпическим песням, на их стремление сохранить в этих песнях и передать будущим поколениям то, что воспринимается ими как обладающее исторической ценностью. Он допускает, что в истории каждой былины могло быть время, когда конкретный исторический факт имел приоритетное значение:

² Сокрушительное поражение русских от рук монголов в 1223 г. В летописи рассказывается о смерти некоего Александра Поповича и вместе с ним семидесяти богатырей.

«Нужно предположить какое-то сюжетное ядро, которое в былине когда-то дорого было самой фактичностью своею как воспроизведение определенного события подлинной жизни, всем известного» [там же, с. 100]. Однако как бы ни отражалась реальная жизнь в былине, позже, согласно Скафтымову, она искажалась под влиянием различных факторов и, таким образом, в конце концов значительно отдалялась от реальности.

Любопытно, что Пропп выбрал именно Скафтымова для подтверждения правоты своей позиции, тогда как Скафтымов, в отличие от Проппа, не интересовался генезисом былины. Для него как формалиста главным в процессе создания былины является «логика самого внутреннего состава художественного произведения искусства без всяких сличений его с реальностью» [там же, с. 99].

Следует отметить, что в «Русском героическом эпосе» Пропп умалчивает о вкладе в былиноведение как своих предшественников, так и современников в России и за рубежом. В его предварительных замечаниях о методологии нет ни точно сформулированной научной полемики с фольклористами, придерживающимися противоположных взглядов, ни конкретного анализа основных исследований по этому вопросу. Труды как западных, так и русских ученых XIX века отвергаются им как «буржуазные», что можно объяснить многочисленными нападками на его «либеральную» и «космополитическую» терпимость по отношению к работам других ученых, в особенности зарубежных, якобы характерную для «Исторических корней волшебной сказки».

Свой отказ от концепций исторической школы Пропп мотивирует ее специфическими недостатками, среди которых он выделяет преувеличение значимости письменных источников, а именно летописей, в контексте поиска истоков возникновения былин. При этом, как полагает Пропп, единственное различие между историческими анналами и былиной для последователей исторической школы состояло в том, что первые осознавались как достоверная хроника, а вторые — нет. Он подвергает критике слишком большое внимание представителей школы к мелким историческим деталям, так же как и их сосредоточенность на гипотезе, согласно которой былины обязаны своим появлением не крестьянам, а придворным «бардам» князя Владимира Киевского. Вопрос социального происхождения определенных фольклорных жанров широко дискутировался в советской фольклористике.

В статьях 1936 года в «Правде» и «Литературной газете», критиковавших «Богатырей» Демьяна Бедного, решительно отклоняются любые предположения о том, что русский фольклор был лишь унаследован народом от высших слоев общества. Как выражался автор одной из статей, «золото» фольклора отражало идеалы и устремления русского народа в целом, а вовсе не его классовых угнетателей, и было продуктом созидательного гения трудящихся [68]. В 1940—1950-х годах «аристократическая теория» В. Ф. Миллера подвергалась всеобщему осуждению. Только во время «оттепели» в начале 1960-х годов дискуссия по этому вопросу вновь приобрела более научный и менее конъюнктурный характер. В книге «Народный

героический эпос» (1962) Жирмунский, например, выдвигает разумное предположение о том, что социальное происхождение не всегда определяет идеологию и что в любом случае, независимо от классовой принадлежности героя, произведение, в котором он действует, может выражать не узко индивидуалистический или классовый интерес, а затрагивать вопросы общенационального значения. Что же касается былин, то Жирмунский отказывается от тенденциозной интерпретации классовых функций, выявленных Проппом в его книге.

Неприятие Проппом «аристократической теории» особенно ощутимо в его трактовке отдельных героев былин. Особенно упорными могут показаться его попытки приписать «простонародное» социальное происхождение Добрыне Никитичу, одному из наиболее «культурных» героев. Многие из ученых, включая и тех, кто в целом отрицал соотнесение былинных героев с историческими личностями, тем не менее усматривали в образе Добрыни Никитича поэтическую отсылку к упоминавшемуся в летописях дяде князя Владимира. Жирмунский же на основании различных документальных свидетельств, которые Пропп сознательно игнорировал, сделал вывод, что и Добрыня Никитич, и Илья Муромец, которого Пропп, как и большинство его современников, считал выходцем из крестьян, наоборот, являлись высокопоставленными членами княжеской дружины и, более того, по материнской линии — родственниками князя Владимира. И если в былинах (например, в былине «Исцеление Ильи Муромца») герой изображен в крестьянской среде, то это можно объяснить как более позднюю попытку демократизировать его образ. Жирмунский также предупреждает об опасности отождествления современных классовых концепций с социальными категориями периода раннего Средневековья [46, с. 91—92]. Примечательно, что он соглашается с наблюдением Проппа о том, что в любом случае в былинах богатыри не приравниваются ни к князьям, ни к боярам, а всегда упоминаются как отдельная социальная категория.

Осмысляя монографию Проппа в контексте его времени, необходимо учитывать, что концепция аристократического происхождения фольклора (и русского эпоса, в частности) не могла не вызвать осуждения советских официозных ученых. Она противоречила вере в созидательные таланты простого человека, ставшей основополагающим принципом марксистского государства, а в предвоенный и непосредственно в послевоенный период эту концепцию стали связывать с догмами фашизма. Труды немецкого фольклориста Ганса Фрица Эриха Наумана в 1920—1930-х годах [см., например: 278] проповедуют идею существования не только высших и низших рас, но и социальной и интеллектуальной элиты, творящей искусство; простые люди, по его мнению, способны только на подражание. Для Наумана народное творчество являлось лишь деформацией высокого искусства, воспроизводящей художественные формы, забытые истинными создателями. И многие советские фольклористы искренне соглашались с ним. «Отмеченный им факт „нисхождения“ культурных ценностей не подлежит никакому сомнению», — писал Жирмунский в 1934 году [1, с. 206].

В статье 1936 года [99], предвосхитившей нападки «Правды» на историческую школу, В. Петров уже выступает против таких высказываний. Примечательно, что в этой глубоко консервативной, даже реакционной, статье жестко критикуется «буржуазная фольклористика» вообще, хотя прямая ссылака на историческую школу отсутствует. Гнев Петрова направлен не столько на концепцию искусства как классового явления (ведь классовая принадлежность человека не является неизменной), сколько на предположение, что народ в принципе лишен каких-либо творческих способностей по чисто генетическим причинам. Другие противники теории аристократического происхождения пренебрежительно отзывались о русских фольклористах, «плетущихся на поводу у Наумана» [68].

Предположение о том, что советская фольклористика находилась в какой-то степени под влиянием фашизма, естественно, горячо отрицалось всеми участниками дискуссии. Так, в 1939 г., когда страна стояла на пороге войны с Германией, М. К. Азадовский с негодованием утверждал, что подобное мнение чересчур преувеличено [3, с. 35 и след.].

Противоположные взгляды на историческую природу былины

П. Д. Ухов писал в 1957 году: «Несмотря на ошибочность методологических основ исторической школы, главный ее тезис — русские былины являются отражением русской истории — верен» [26, с. 13]. Такого взгляда придерживалось большинство русских ученых, начиная с монографии Л. Н. Майкова (О былинах Владимира цикла. СПб., 1863), в которой убедительно показано, что история в большей степени, чем мифология, служила творческим импульсом для возникновения большинства былин. Работы В. Ф. Миллера 1890-х годов [см., например: 86] укрепили теоретическую базу исторического подхода, сохранив еще на полвека неоспоримое представление о былине как об отдаленном отголоске полузабытых исторических фактов.

Кампания 1930-х годов, направленная против исторической школы, подвергла переоценке некоторые фундаментальные положения былиноведения: вопросы генезиса и эволюции, отношения былины к исторической действительности, природы и функций художественного вымысла в противовес реликтовому и традиционному аспектам былинной формы, а также проблемы типологических различий между былиной и исторической песней. «Русский героический эпос» Проппа ознаменовал возникновение нового подхода к исторической природе былины.

Изменения направления в области советского былиноведения ощутили уже в публикациях конца 1930-х—начала 1940-х годов. А. М. Астахова затрагивает многие из ключевых вопросов, отмеченных выше, в своих исследованиях былин, которые были опубликованы между 1938 и 1948 годами [25; см. также: 56; 10]. Экспедиционная работа на Севере России привела ее к выводу, что былина является не искаженным или обесценившимся сколком

прошлого, как полагал Миллер и его последователи, а живой и развивающейся формой.

Общая концепция творческой эволюции, процесса в достаточной степени сознательного и отвечающего социальным или идеологическим требованиям, логически подводит к вопросу о том, как должно оцениваться историческое содержание былины. Астахова, одна из первых, утверждала, что былина представляет собой скорее «обобщенное», или «идеальное», чем «фактическое», отражение истории и что историческое содержание былины определяется его художественной сущностью: «В былине отражение исторического прошлого представлено посредством таких больших художественных обобщений, что в результате мы получаем только общую картину конкретного периода» [56, с. 67].

Взгляды Проппа на то, каким именно образом и в какой степени русский эпос отображал историческую действительность, представляют собой расширенный и систематизированный вариант данной гипотезы.

Пропп был твердо убежден в том, что, хотя былины и историчны по своей природе, они не являются записью конкретных событий и что поэтому не следует искать прямых соответствий между сюжетами былин и их героями и русской историей, зафиксированной, например, в летописях. Былины — это не искаженный, поэтизированный отчет о реальных событиях, а скорее художественные произведения, выражающие исторические идеалы русского народа, выработанные за всю историю его существования: «Народная поэзия — не фактографическая хроника: дело здесь в общегосударственных и народных устремлениях и интересах, а не в изображении отдельных, частных событий» [124, с. 287]. Аналогичные идеи были сформулированы в докладе Проппа, сделанном в 1953 году в Ленинградском университете [120]. Он остался верен этим взглядам и в своих более поздних работах по историческим аспектам русского фольклора [128, 129]. Так, в статье «Об историзме фольклора и методах его изучения» Пропп утверждал, что ни в повествовательных произведениях, ни в изобразительном искусстве (иконы) не отражена реальная жизнь. И если «в иконе лица преображены в лики, то в эпосе люди преображены в возвышенных героев, совершающих величайшие подвиги, которых простой человек совершить не может» [133, с. 126]. Целью исследования былин, по мнению Проппа, должно быть установление определенного идеала или идеи, лежащих в основе любого конкретного текста, и на этой основе отнесение былины к соответствующим ей эпохам или этапам исторического развития.

Книга Проппа широко обсуждалась в дебатах об исторической природе былины, которые начались в 1940-х и стали особенно бурными в 1960-е годы. Фактически можно утверждать, что появление книги Проппа способствовало разделению советских былиноведов на два враждующих лагеря. Практически полностью отрицая присутствие конкретных исторических факторов в былине, Пропп занял одну из наиболее «экстремистских» позиций, и его влияние ощутимо как в работах этого периода, так и в более поздних

исследованиях. Самым преданным из сторонников Проппа был Б. Н. Путилов. В рецензии на «Русский героический эпос» Путилов ссылается на пропповский «совершенно верный взгляд на историческую природу былины» [150, с. 183]. В 1975 году, через пять лет после смерти Проппа, Путилов, определяя роль Проппа в советском былиноведении, по-прежнему разделяет негативную оценку исторической школы, данную Проппом в «Русском героическом эпосе», и критикует методiku исследования, которая может «привести к приравниванию народной песни и летописи», предпочитая значительно более расплывчатые исторические критерии, выдвинутые Проппом [181, с. 13].

Серьезную поддержку метода Проппа можно найти в статье М. Балашова (1975), в которой он подытожил высказывания последователей Проппа относительно изучения былин: «В недавних спорах, развернувшихся вокруг книги Б. А. Рыбакова „Древняя Русь“, несколько запоздало воскресившего традиции „исторического направления“, автор данной статьи целиком стоял на стороне взглядов В. Я. Проппа, или „школы Проппа“, как уже теперь можно сказать, ибо В. Я. Пропп — это именно школа, причем ведущая школа нашей фольклористики. Действительно, рассматривать живое, многообразно меняющееся и подверженное в процессе этих изменений особым законам, определяемым спецификой искусства, да еще к тому же устное явление как археологический материал, намертво закрепивший известные конкретные исторические факты, — принципиально неверно» [16, с. 28].

Л. И. Емельянов в своем сравнительном анализе исторических песен и былин постоянно подчеркивал близость к реальности первых и обобщенную природу последних. Былина является формой искусства, «предметом которого конкретные факты непосредственно не являются» [39, с. 56]³. В начале 1960-х годов Мелетинский тоже сближается с позицией Проппа в его оценке исторического подхода. Он привлекает внимание к существенной роли вымысла в создании былины и, не отрицая возможности установления исторических фактов, полагает, что их следует рассматривать как материал для «эпических обобщений, а не как самодовлеющий элемент» [80, с. 13].

Если Пропп представлял одну крайность в этом споре, то другая была за Б. А. Рыбаковым, наиболее ярким противником Проппа. Рыбаков не сомневался в том, что многие былинные сюжеты и герои могут быть прослежены вплоть до конкретных исторических источников и, так же как Д. С. Лихачев, считал разумным использование исторических документов для установления прототипов. В книге «Древняя Русь: легенды, былины, летописи» он пишет: «История тысячелетней давности дожила в устной передаче, как народный учебник родного прошлого (курсив мой. — Э. Э. У.), в котором отобрано главное в героической истории народа» [161, с. 39]. Рыбаков целиком опровергает подход Проппа к изучению эпоса и, в противопо-

³ Интересно отметить, что Емельянов, подобно другим, существенно изменил свои взгляды позже. В 1970-е годы он выступал за переоценку исторических принципов Миллера и организовал кампанию против методов Проппа. См., например: [40].

ложность несколько аморфной классификации, предложенной Проппом, делает попытку дать точную хронологическую периодизацию былин и установить исторические события и личности, используя свидетельства письменных источников. Выводы Рыбакова относительно конкретных былин резко отличаются от выводов Проппа. Для Проппа, например, былина о Микуле и его стычке с князем Вольгой является явлением классового антагонизма конца XV — начала XVI веков. Для Рыбакова же эта былина — одна из древнейших, восходящая своими корнями к более раннему периоду, чем киевский цикл. Или еще: Рыбаков считает, что бой Ильи Муромца с Соловьем-разбойником является поэтизированным описанием реальной жизни конца X века и восходит непосредственно к упоминанию в летописи за 996 год о казни разбойников, представлявших опасность для путешественников, которых становилось все больше в условиях политического и экономического роста Киевского государства [там же, с. 74—75]. Пропп же рассматривает этот сюжет как переработку догосударственного мотива столкновения героя-человека с духами — повелителями стихий. В киевском периоде, согласно Проппу, Соловей-разбойник стал трактоваться как символический представитель «сил, разъединивших Русь, дробивших ее на части, стремившихся к замкнутости, к изоляции Киева как столицы от остальной Руси» [122, с. 255].

Гораздо более основательным, чем мелкие разночтения индивидуальных мотивов, является принципиальное несогласие Рыбакова и Проппа относительно периодизации былин. По мнению Рыбакова, наиболее древние былины отражают события и явления, имевшие место между IX и XIII веками. Рыбаков резко критикует переоценку Проппом значимости периода, предшествовавшего образованию Киевского государства, что якобы привело его к игнорированию «конкретной истории русских земель в ту блестящую пору расцвета Руси, которая воспета в былинах» [161, с. 42]. Ясно, что Рыбаков и его последователи во многом правы. Полное отвержение Проппом исторической действительности и документальных источников, безусловно, можно расценивать как заблуждение. Датирование былин длительными «стадиями» исторического развития и приписывание им соответствующей идеологии порой приводило Проппа и его сторонников к весьма субъективным и противоречивым заключениям. Однако метод Рыбакова также имеет свои недостатки. Фольклор ведь не история, и нельзя изучать его как историю. Это — искусство, имеющее собственные законы и собственную внутреннюю логику. Не менее важными, чем само существование в нем исторического факта, являются процесс трансформации исторических фактов и выяснение причин, породивших этот процесс. Стремясь установить подлинность отдельных деталей, Рыбаков часто упускает из вида основную часть сюжета, оставляя ее без объяснений. В «Ответе академику Б. А. Рыбакову» Пропп правильно указывает, к примеру, на то, что в своих попытках обнаружить прототип князя Вольги в былине «Микула Селянинович и Вольга» Рыбаков игнорирует основную тему былины — состязание в силе между пахарем и князем [128, с. 91]. Нельзя обвинять в субъективности только лишь Проппа: последователи

метода Рыбакова также были субъективными в подборе материала исторического исследования, придавая особое значение именам людей и названиям сражений, при этом часто принимая желаемое за действительное. Анализируя былинку «Микула Селянинович и Вольга». Рыбаков делает попытку историко-лингвистического истолкования названий трех городов, дарованных Вольге князем Владимиром. Для Проппа не составило труда оспорить лингвистические аргументы Рыбакова и выдвинуть более убедительные исторические доводы. Отождествление Рыбаковым Вольги с историческим князем X века Олегом Святославичем также выглядит неубедительно. Положительные и отрицательные аспекты анализа этой былины Проппом и Рыбаковым подробно рассматриваются в статье Балашова (1975).

М. М. Плисецкий, так же как и Б. А. Рыбаков, принадлежал к числу исследователей, категорически отвергавших направление былиноведения, разработанное В. Я. Проппом. В книге «Историзм русских былин» (1962) он не без основания задает такой вопрос: если другие жанры, такие как, например, исторические песни, могут воскрешать конкретные события, то почему этого не могут делать былины? Он подвергает сомнению предположение Проппа о том, что исторические песни были созданы воинами, которые принимали непосредственное участие в сражениях и поэтому впоследствии вполне могли вспомнить эти события с достаточной точностью, тогда как героические былины были сложены крестьянами, имеющими незначительный опыт военных действий. Другой, возможно более серьезный, аргумент Плисецкого против неприятия Проппом факта отражения конкретных исторических событий в былинах состоит в том, что в самый ранний период, когда такие формы искусства, как былины, находились на стадии становления, существовал еще предел художественного вымысла и способности обобщения и абстрактного мышления [101, с. 104, 108, 109].

Одну из наиболее обоснованных позиций среди критиков исторического подхода Проппа занимает С. Н. Азбелев. Как и Плисецкий, он полагает, что ранней стадии развития эпоса более характерно простое описание известных фактов исторической реальности, чем описание обобщающего характера [5, с. 30, 31]. Азбелев утверждает, что отрицание исторического факта как основы русского эпоса неизбежно приводит к высокой степени субъективизма. Обосновывая это утверждение, он указывает на датировку былины о Дунае, предложенную сторонниками методологии Проппа Д. М. Балашовым и В. Г. Смолицким. Хронологическое расхождение в данной датировке, которая восходит к «идее» былины, лежащей, по мнению этих исследователей, в ее основе, — достигает 1000 лет [там же, с. 8—12]. Пропп же предлагает третью идеологическую интерпретацию этой былины и, соответственно, относит дату ее создания к другому периоду. Для него суть былины о трагической смерти Дуная и его жены Настасьи состоит в несовместимости темы сватовства героя с новой идеологией Киевского государства, которая уже не могла рассматривать женитьбу богатыря как подвиг, что и обусловило трагическую развязку. Характерно, что для Проппа идея былины заключается в конфликте идеологий [122, с. 134—154].

Многие ученые, современники Проппа, пытались выработать компромиссную позицию, допускающую возможность, что былина иногда фиксировала реальные исторические события и персонажи и что специфические художественные условия былины могли трансформировать их исторически-конкретные реалии в художественные образы. Этот, более сдержанный, подход отражен в трудах В. И. Чичерова.

Чичеров, несомненно, усматривает в былинах некоторую долю подлинно исторической правды. В своей статье «Об этапах развития русского исторического эпоса» (1947) он высказывает мнение о близости былинных героев — таких, как Добрыня Никитич и Алеша Попович, — прототипам из летописей. Художественные былинные описания богатырей рассматриваются им как дополнение к материалу, представленному в письменном тексте. Даже в тех случаях, когда не удалось провести точную параллель, автор не сомневается в том, что былины отражают и интерпретируют факты русской истории. Более того, согласно Чичерову, фольклорный текст может иногда представлять «единственное свидетельство некоего события в прошлом» [197, с. 9]. В своем учебнике, написанном на основе лекций, прочитанных в Московском университете в 1954—1956 годах, Чичеров характеризует былины как «стихотворный героический эпос Древней Руси, отразивший события исторической жизни русского народа», и, говоря о былинном стиле, указывает, что «ведущими в поэтике былин являются образы, порожденные исторической действительностью» [199, с. 213, 242]. Но в то же самое время ученый допускает, что одной из наиболее характерных особенностей былины является уникальное соединение в ней реальных событий, исторических персонажей и фантастических образов. По мнению Чичерова, история отображена в былине не прямо, а в поэтизированной-идеализированном виде. Во введении к «Историческим песням» (1956) есть высказывания, которые еще ближе к позиции Проппа. Отнюдь не отрицая связи между русским историческим фольклором и реальной жизнью, Чичеров подчеркивает, что главное в фольклористике — не поиск конкретных фактов, а обнаружение «реального факта, раскрывающего отношение трудовых масс к действительности, их борьбу, их надежды и устремления» [57, с. 8].

Видное место в дискуссиях об исторической природе былин занимал Д. С. Лихачев. Он тоже не сомневался в том, что былины отражают историческую действительность, и обращался к историческим документам (преимущественно к летописям) для подтверждения или разъяснения своих гипотез. В 1946 г. он писал: «Былины и исторические песни рассказывали о том же, о чем писал и летописец: о русском прошлом» [69, с. 73]. Такой точки зрения Лихачев придерживался в своих ранних работах, предшествовавших «Русскому героическому эпосу» Проппа, и он не меняет своей позиции и в исследованиях 1960-х годов, практически повторяя приведенное выше утверждение в монографии «Культура Руси во времена Андрея Рублева и Елифания Премудрого» (1962), где он прослеживает жизнеописание Алеши Поповича параллельно в былине и в летописи [70, с. 108]. Это не означает, однако, что

Лихачев раболепно следовал методам исторической школы, собирая факты и даты исторического прошлого России, чтобы доказать происхождение того или иного эпического героя или события. Лихачев прекрасно сознавал, что былина не является зеркалом истории. Наоборот, исторические аспекты былины — продукт длительного процесса отбора, и они подчинены особым законам былинной формы. Отличительной чертой былины является как раз своеобразное равновесие между фактом и поэтическим образом.

Однако пропасть между взглядами Проппа и Рыбакова оставалась непреодолимой. Парадоксально, но оба исследователя, один из которых ориентируется на недоказуемые обобщения, а другой — на достаточно ограниченные исторические данные, лишь поверхностно затрагивают более интересный вопрос о том, почему и каким образом идеологии и факты превращаются в конкретную художественную форму былины.

Пропп и Марр

Одним из основных положений Проппа относительно исторической эволюции былины и ее исторической природы был его «стадиальный», в принципе марксистский, подход к истории. Еще до возникновения марксизма считалось аксиомой, что все цивилизации развиваются стадийно, или проходят ряд «ступеней» (*grades*). Это утверждали и приверженцы английской антропологической школы, с исследованиями которых Пропп был хорошо знаком. Этот принцип четко изложил Э. Б. Тайлор в монографии «Примитивная культура»: «Различные ступени цивилизации можно рассматривать как стадии развития или эволюции, каждая из которых — результат предыдущей истории, но одновременно как бы выполняет свою роль в формировании истории будущего» [327, р. 108]. Однако, в отличие от Тайлора, мысль о том, что всеобщее развитие человечества определяется развитием менталитета, не повлияла на формирование научной мысли Проппа.

Примерно с середины 1930-х годов в советской фольклористике широко распространилось мнение о том, что изучение исторических аспектов фольклора должно вестись согласно марксистско-ленинским теориям экономического и социального развития. М. К. Азадовский, например, в 1935 году категорически утверждал, что «проблемы советской фольклористики... могут решаться только в общей системе исторических наук на базе марксистского метода» [2, с. 6]. Хотя многие ученые и до Проппа признавали важность социально-экономических этапов исторического развития, выделенных Марксом и Энгельсом, в связи с фольклорными жанрами Пропп первым разработал единую схему происхождения и развития русской былины, целиком основанную на этом принципе.

Распространению марксистских взглядов в фольклористике в 1930-х годах в значительной мере способствовали труды лингвиста и археолога Н. Я. Марра (1865—1934) и его приверженцев. Сам Марр вступил в ВКП(б) в 1930 году, в тот момент, когда почувствовал, что существуют определенные точки сопри-

косновения между марксистской методологией и его собственной теорией происхождения и последующего развития языков. Позднее М. К. Азадовский отзывался о нем как о «стихийном материалисте» и «ученом революционере» [там же, с. 19]. Как полагает М. Талпа в статье, посвященной Марру и русской фольклористике (1937), его новаторская деятельность в области лингвистики «обрела полную мощь и силу оттого, что он применил основы учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина к той отрасли знания, которая находилась в наибольшем плену буржуазного идеализма» [177, с. 130].

Марр начал развивать свои оригинальные, хотя впоследствии и опровергнутые, теории языкознания в начале 1900-х годов. Влияние этих теорий на литературоведение резко усилилось после появления в 1928 году его учебника, написанного для Азербайджанского университета, в котором он излагал так называемую «Яфетическую теорию» о языке [74]. Главным в этой теории для Марра было единство того, что он называл «глоттогоническим процессом»: различные человеческие речевые формы создавались одинаковым путем и в своем развитии следовали одним и тем же универсальным моделям и законам. Вслед за Энгельсом Марр рассматривал язык как социальное явление, уходящее корнями в общественную природу человека и зависящее, в конечном счете, от материальной базы общества, от средств производства, от технологии и экономических институтов, выросших на этой материальной базе, и от общественно-политических формаций, которые, в свою очередь, являлись продуктом экономики. Язык, как и философия, искусство и литература, представляет собой, согласно Марру, часть общественной надстройки, выросшей на социально-экономическом фундаменте, который определяет как настоящее состояние, так и будущее развитие общества: «Общественность наследует, консервирует или перелицовывает свою речь в новые формы, претворяет ее в новый вид и переводит в новую систему» [там же, с. 19]. Именно такой взгляд на язык привел Марра к отказу от общепринятых в то время принципов индоевропейской компаративной лингвистики, которую он считал излишне этноцентричной: «Индоевропейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызванной переворотом в общественности в зависимости от новых форм производства...»; «индоевропейская семья языков типологически есть создание новых хозяйственно-общественных условий» [там же, с. 9]. Использование термина «типологически» весьма примечательно. Марру удалось дать новое направление советскому «компаративизму», что существенно повлияло на фольклористику, где компаративно-типологический метод, хотя и в значительно более рафинированном виде, сохранял свою ведущую роль на протяжении советского периода.

Если следовать мнению Марра, что языки развиваются в соответствии с общественно-экономическими формациями, то можно сделать вывод, что, подобно тому, как общества, проходя свои стадии развития, движутся к высшей общественной формации — бесклассовой эпохе коммунизма, так и языки движутся к одному совершенному универсальному языку этой же эпохи.

Таким образом, язык принимает, в своем развитии, как бы пирамидальную структуру, в основании которой лежат доиндоевропейские (или «яфетические») языки, а венчается пирамида совершенным по своей форме языком коммунизма. Восходящее развитие языков от одной стадии к другой рассматривается не как процесс ступенчатой эволюции, а как серия диалектических коллизий. Это «конфликтное» понимание развития языка нашло отклик в том, как Пропп воспринимает сменяющиеся стадии былины.

Сам Марр считал «новое учение о языке» применимым к тем отраслям знания, которые так или иначе исследуют общественную функцию человека, — к экономике, социологии, археологии, литературоведению, этнографии, фольклористике. Однако его теория оказала самое заметное влияние на литературоведение и фольклористику. «Изучение фольклорных материалов с точки зрения стадийного анализа, — писал В. Петров в 1935 году, — есть очередная задача советской фольклористики» [99, с. 49].

Двумя характерными и взаимосвязанными особенностями метода Марра, вытекавшими непосредственно из его стадийного понимания развития языков, были, во-первых, его тяготение к языковой «палеонтологии» — поиски внутри каждой отдельной стадии реликтов, которые могли бы отражать идеологию предшествующих стадий, и, во-вторых, то особое значение, которое он придавал вкладу, привнесенному в его языковые типологии языков малых народов, преимущественно живущих на территории Советского Союза. Рост интереса советских фольклористов к устному творчеству именно таких народов, а также к вопросам возникновения и эволюции фольклорных жанров и их сюжетов можно отчасти приписать работам Марра.

Пропп всегда шел своим путем, не следуя методам какого-либо одного научного направления или отдельного исследователя. Согласно Путилову, Пропп не был «марристом» в узком понимании этого слова [151, с. 41—42], хотя, безусловно, Марр был одним из выдающихся исследователей, работы которых стимулировали Проппа, когда он только начинал свою научную деятельность.

До революции заслуги Марра не раз отмечались высокими наградами Российской академии наук. Когда Пропп был студентом и его взгляды еще только формировались, Марр — специалист по армянскому языку, профессор, декан факультета востоковедения — был одним из крупнейших востоковедов Петербургского университета [249, р. 103]. Не исключено, что Пропп посещал лекции Марра по лингвистике, собиравшие большую аудиторию в конце 1920-х годов. Правда, некоторые из многочисленных идей Марра, например, та, что фольклор является лишь устной формой литературы, были совершенно чужды Проппу, однако он, наверное, нашел бы общие точки соприкосновения с концепциями Марра, когда тот утверждал, что эволюцией культурных явлений руководит один закон.

Надо сказать, что восприимчивость Проппа к стадийным взглядам Марра была подготовлена его преклонением перед идеями А. Н. Веселовского и что сам Марр являлся как бы порождением эпохи Веселовского

в Санкт-Петербургском университете. Марр открыто признавал свою зависимость от теоретических работ Веселовского и его методологического подхода к истории литературы. Ведь Веселовский в ходе своих сравнительных исследований тоже пытался определить основные законы развития литературы и народного творчества вне зависимости от национальной принадлежности и хронологического времени.

В некрологе Марру М. К. Азадовский отзывается о Веселовском как об «учителе» Марра [2, с. 17]. Ю. М. Соколов считает «точно установленной» степень влияния теории поэтики Веселовского на труды Марра [173, с. 113]. В. М. Жирмунский также подчеркивает сильное влияние Веселовского на эволюцию стадийного подхода, ссылаясь в своей статье 1936 года на то, что Веселовский в «Исторической поэтике» в качестве стадийных эквивалентов приводит примеры из древнегерманской, древнегреческой, англосаксонской литератур и литератур североамериканских индейцев — [44, с. 385, 386]. Десятью годами позже в рецензии на «Исторические корни волшебной сказки» Жирмунский снова обращает внимание на попытки Веселовского в его неоконченном исследовании «Поэтика сюжетов» «наметить общую перспективу стадийного развития фольклорных и литературных мотивов и сюжетов» [45, с. 98].

За отказом Проппа следовать теории Веселовского в книге «Русский героический эпос» явно стоит страх перед опасностью той эпохи, когда эта книга была написана.

Излагая стадийный взгляд на исторический процесс, в работах, вышедших до публикации «Русского героического эпоса», Пропп отдает должное Веселовскому как ученому, давшему толчок его идеям. Вот что пишет Пропп о стадийности фольклора в статье «О специфике фольклора» (1946): «Фольклор возникает и изменяется систематически, совершенно закономерно, независимо от воли людей, везде там, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия». Изучая фольклор «стадийно», то есть в соответствии со стадиями, определяемыми «по совокупности признаков материальной, социальной и духовной культуры», исследователь может достичь «исторической поэтики» в истинном смысле слова, «той исторической поэтики, фундамент которой заложен Веселовским» [118, с. 142, 148].

Впервые Пропп использовал стадийный подход к исследованию фольклора в статье «К вопросу о происхождении волшебной сказки: волшебное дерево на могиле» (1934), которая посвящена чудесным деревьям или другим растениям, растущим на местах захоронения невинно убиенных. Уже в этой статье Пропп высказывает предположение, что при изучении сказки не следует оставлять без внимания общественно-экономическую базу, на основе которой формируется искусство сказки. Здесь же содержится замечание, подробнее разработанное в «Исторических корнях волшебной сказки», о том, что отдельные элементы сказки должны изучаться не изолированно, а только в совокупности с другими факторами материального и общественного

порядка, в частности, — с обычаями и ритуалами данного народа «и других народов, находящихся с ним на одинаковой ступени хозяйственного и культурного развития» [112, с. 130].

Далее Пропп пытается проследить эволюцию темы «волшебное дерево на могиле», начиная с «первобытно-охотничьей» стадии и кончая более развитой стадией — сельскохозяйственной.

Модные тогда в фольклористике идеи, выдвинутые Н. Я. Марром, можно ощутить и в «Исторических корнях волшебной сказки». Это влияние наиболее очевидно именно в теоретической предпосылке, являющейся своеобразным откликом на транснациональный подход Марра к народному творчеству, которая и позволяет Проппу искать источники (если и не русских волшебных сказок как таковых, то хотя бы волшебных сказок, оцененных на базе русских источников) в институтах «доклассовых» племенных обществ народов Океании, Северной Америки и Африки, этнически столь далеких от славян. Марр совершенно не принимал в расчет этнические различия: «...нет племенных культур, отдельных по происхождению, а есть только культура человечества определенных стадий развития» [2, с. 12]. Это утверждение находит очевидный отклик в «Исторических корнях волшебной сказки», где Пропп отмечает, что «фольклор — это интернациональное явление» [141, с. 21].

Любопытно, что именно «интернационализм» в сказковедении, который Пропп до войны рассматривал как противоядие национализму и фашизму [112, с. 128], в конце 1940-х стал восприниматься уже как проявление антипатриотизма. Именно эту характеристику теории стадийности Дементьев подверг критике в статье «За большевистскую партийность в литературоведении» (1948): „Теория стадийности“ в той форме, в какой она пропагандировалась В. М. Жирмунским, вредна, потому что она ведет к космополитизму, к смазыванию национального своеобразия явлений литературы...» [35, с. 85]. Именно в космополитизме, как мы видели, обвинили Проппа критики «Исторических корней волшебной сказки».

Было бы неправильно преувеличивать влияние Марра на «Русский героический эпос». На самом деле, Пропп не ссылается на него, и вряд ли он стал бы это делать, поскольку ко времени публикации книги Проппа Марр и его наиболее стойкие приверженцы уже утратили расположение властей. Новые направления советской лингвистики, и в особенности яфетическая теория Марра, стали предметом тщательного рассмотрения и обсуждения в «Правде» в мае—августе 1950 года [238; 239; 269]. В номере от 20 июня была напечатана статья Сталина «О марксизме и лингвистике», где Сталин оспаривал заявление последователей Марра о том, что именно «новое учение о языке» представляет единственную истинно марксистско-ленинскую теорию в лингвистике. Свою концепцию он развил в книге «Марксизм и вопросы языкознания» (Москва, 1950). По мнению Сталина и тех лингвистов, которые его поддерживали (А. С. Чикобава, В. В. Виноградов, С. Д. Никифоров, П. Я. Черных), некоторые из основных постулатов учения Марра являются в значительной степени неверными и по сути антимарксистскими. Сталин на-

чинает подвергать сомнению идею о том, что язык является надстроечным, а также преимущественно классовым явлением. В тот момент Сталин считал, что язык развивается, в основном, как средство общения между членами этнических или национальных групп независимо от классов. Поскольку язык, с точки зрения Марра и его последователей, детерминирован не этнически, а в соответствии с общественно-экономической стадией развития, в их трудах вопрос о национальной идентичности затушевывался. В 1920–1930-х годах «новое учение о языке» даже применялось в полемике против якобы расовых и колониалистических настроений индоевропейской сравнительной лингвистики. Однако в годы войны и непосредственно в послевоенный период такое отношение к языку перестало соответствовать принципам сталинской национальной политики. Понятие «класса» как фактора, нивелирующего национальные различия, потеряло былое значение; на первый план выступило понятие «достоинство нации» как спланирующая сила в условиях многонационального социалистического государства. Но эта национальная политика проводилась повсюду в СССР крайне непоследовательно, за исключением самой Российской Федерации. Термин «русский» стал фактически синонимом терминов «советский» и «патриотический». Небезынтересно, что в коротком предисловии к «Русскому героическому эпосу», хотя Пропп пишет о необходимости развивать чувство «советского» патриотизма, слово «русский» употреблено девять раз!

Однако после выступлений Сталина против Марра не было никакой необходимости в отказе от концепции «стадиальности» в фольклоре, поскольку Сталин перестал признавать язык как надстроечное явление, но это не распространялось на культуру.

Тем не менее, когда вновь поднимается вопрос о стадиальности в конце 50-х и в 60-е годы, он сопровождается постоянными напоминаниями о том, что не следует забывать и о национальной характеристике фольклора. В. И. Чичеров, например, в 1959 году пишет: «Общие элементы в народном творчестве порождались едиными закономерностями развития человеческого общества. Конечно, сходные черты, возникавшие в искусстве разных народов, проходивших одни и те же этапы развития, получали *своеобразную национальную разработку*; основа же их была единая (курсив мой. — Э. Э. У.)». Чичеров говорит о возникновении этих национальных особенностей «в глубочайшей древности», еще в период формирования мифологий [199, с. 13, 19]. К. В. Чистов во введении к учебнику «Русское народное творчество» (1966) напоминает о том, что марксизм и стадиализм далеко не тождественны, так как «марксистская фольклористика стремится не только установить сходство и параллели, но и на фоне общих закономерностей выявить то специфическое, что отличает фольклорные явления разных народов и что связано с историческим своеобразием каждого из них» [160, с. 37].

Особенно необычным во взглядах Проппа было то, что он рассматривал стадиализм как фактор, не противоречащий, а дополняющий структурное исследование фольклорного текста. В небольшой статье о «Чукотском мифе и гилякском эпосе» (1945) Пропп выделяет композиционную структуру в каче-

стве одного из основных исходных моментов сравнительного анализа. Эпос, как и волшебная сказка, по мнению Проппа, должен иметь единую структуру. Тем не менее «она видоизменяется, нарушается, заполняется различным идейным и художественным содержанием, в зависимости от степени развития и исторических судеб народа...» [117, с. 29]. В том, что практически отсутствует данное структурное измерение в «Русском героическом эпосе», виноват не Пропп: первоначальный вариант книги был отклонен издательством. Как пишет К. В. Чистов в статье «В. Я. Пропп: легенды и факты» (1981): «...предполагалось, что подход к проблеме будет сходным с выработанным уже на материале сказки, т. е. выявление структуры эпоса путем межсюжетных сопоставлений, а затем сравнительно-историческое изучение социально-бытового, ритуального, мифологического и т. д. (т. е. этнографического) субстрата эпоса» [195, с. 63]. В таком виде «Русский героический эпос» должен был представлять собой логическое продолжение предыдущих публикаций Проппа. Однако в политической атмосфере того времени не только структуральные, но и межкультурные взгляды Проппа были неприемлемы, что заставило его внести в текст существенные изменения. Е. М. Мелетинский говорил мне, что из-за этого Пропп чувствовал себя подавленным и клялся, что никогда больше не будет писать книг, если рукопись будет вторично отклонена. Первоначальные намерения Проппа ощутимы в книге лишь в первой части, озаглавленной «Эпос в период разложения первобытно-общинного строя»: «Такое сопоставление вариантов в конечном итоге раскрывает перед нами закономерности композиции каждого сюжета. Установление композиции, в свою очередь, ведет к раскрытию идеи, так как идея выражается не отдельными местами, а всей совокупностью повествования, которую и надо установить» [122, с. 23].

Глава V

«РУССКИЕ АГРАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ»: Новый подход к изучению обряда

В своей следующей книге «Русские аграрные праздники» Пропп дал полную волю своему интересу к этнографии, ставшему очевидным уже в «Исторических корнях волшебной сказки». Монография является исследованием основных календарных обычаев, обрядов и игр русского крестьянства, которое базируется, главным образом, на материалах XIX—начала XX веков. Внимание Проппа сосредоточено на двух основных и тесно связанных темах: плодородие земли и культ мертвых — основополагающих понятиях русской народной религии. После принятия христианства в конце X века многие традиционные периоды языческой ритуальной деятельности стали совпадать с главными праздниками православной Церкви: Пасхой, Троицей и праздником Иоанна Крестителя, который отмечается всеми славянскими народами как летний праздник — день Ивана Купалы. К XIX веку христианские и дохристианские элементы составляли некое двуединство, что часто вызывало недовольство со стороны православной Церкви, а после революции — большевистской партии, которая усматривала в этом неожиданном сочетании лишнее доказательство отсталости деревни.

Все исследования Проппа следует воспринимать в контексте политических событий и культурных тенденций того времени. «Русские аграрные праздники» не являются исключением. Эта книга выглядит на первый взгляд не более чем ответом на официальную советскую политику конца 1950-х — середины 1960-х годов, которая требовала искоренения религиозных пережитков.

Во время Великой Отечественной войны и непосредственно после нее Советское государство, стремясь усилить патриотический дух народа, проявило относительную терпимость к православной Церкви, переживавшей период возрождения и обновления. В середине 1950-х годов были открыты новые церкви, восстановлены исторические культовые здания, не было недостатка в желающих стать священниками, церкви были переполнены, особенно во время великих церковных праздников, процветал прозелитизм. Но к концу 1950-х

годов ситуация изменилась, руководству ВКП(б) стало понятно, что в борьбе за сердца и умы русского народа партия начинает терять исходные позиции. Интересно, что рост религиозности не ограничивался только обращением к официально признанным религиям, но проявил себя и в возрождении язычества в тех районах Советского Союза, которые приняли христианство сравнительно поздно [64; цит. по: 284, р. 350]. Официальные меры, направленные на исправление этой ситуации, часто были репрессивными и суровыми: массовое закрытие монастырей и церквей, гонения на духовенство, но тем не менее большое внимание уделялось и вопросу антирелигиозного перевоспитания масс. Одной из первых значительных исправительных мер, предпринятых властями, явилось Постановление ЦК от 7 июля 1954 года, целью которого было усиление антирелигиозной пропаганды в Советском Союзе. В первую очередь Постановление было направлено в адрес Министерства образования и различных молодежных организаций.

В разгар антирелигиозной кампании, примерно с 1959 по 1964 год, все школьные предметы были пропитаны атеистической пропагандой. После второго постановления Центрального Комитета в 1964 году научный атеизм стал обязательным предметом во всех вузах. Атеизм насаждался в обществе и посредством лекций.

По данным Роберта Конквеста, Общество по распространению политических и научных знаний (впоследствии «Знание») в 1963 году, провело около 660 тысяч таких лекций [301, р. 48, 51]. В начале 1960-х годов было издано также огромное количество антирелигиозных книг и брошюр.

Книга Проппа, вышедшая из печати в 1963 году была предназначена, как говорилось в предисловии, «для этнографов, фольклористов, историков религии, литературоведов и может служить научной основой при антирелигиозной пропаганде лекторов по научно-атеистической тематике, для аспирантов, изучающих основы научного атеизма» [145]. Во введении Пропп напоминает советским читателям, что, хотя в атеистическом обществе приверженность религиозным догмам может исчезнуть сравнительно быстро, на искоренение как христианских, так и народных обрядов и ритуалов может потребоваться весьма длительное время. Ссылаясь на Программу КПСС, в которой указывалось на необходимость систематической научно-атеистической пропаганды для искоренения «обычаев и обрядов, которые мешают строительству коммунизма», Пропп утверждает, что отказа от таких реликтовых мероприятий легче всего достичь с помощью рационального объяснения первоначальной цели традиций, которые должны быть чуждыми в обществе, основанном на принципах научного материализма. Главная цель его книги, согласно автору, — дать именно такое объяснение [там же, с. 3]. Интересно отметить, что «Русские аграрные праздники» были написаны по заказу Ленинградского музея истории религии и атеизма, являвшегося тогда филиалом Академии наук СССР. В середине 1950-х годов с открытием нескольких новых отделов, функцией одного из которых было «преодоление религиозных пережитков в СССР» [301, р. 47], деятельность музея значительно расширилась. Не-

смотря на все это, книга Проппа отнюдь не является антирелигиозной пропагандистской работой, хотя в ней и содержатся некоторые отрицательные замечания в адрес христианской религии и, в особенности, православного духовенства¹.

Пропп использует задачи, поставленные Музеем религии и атеизма, для того, чтобы обнародовать свои взгляды на предмет, вызывающий официальное неодобрение, поскольку многие аспекты крестьянского мировоззрения, которое он описывает, сохранились спустя 40 лет после установления советской власти. В своей книге Пропп стремится рассказать о том, что, по его мнению, являлось существенной частью культуры и истории простого русского человека. Помимо этого, он намеревался дать представление об эстетической ценности русской народной музыки и поэзии, которые играли существенную роль в аграрных праздниках. Однако планируемый второй том, посвященный обрядовой поэзии, к сожалению, так и не был написан.

К тому времени, когда Пропп работал над книгой о русских крестьянских праздниках, в России уже было собрано и опубликовано множество материалов о происхождении и целях этих обычаев и обрядов (с обширными комментариями и теоретическими выкладками). В конце XIX — начале XX веков вышли в свет многие ценные исследования и сборники материалов о быте крестьян, о народных обычаях и верованиях, о народных развлечениях, где содержалась также обширная информация о календарных обрядах и праздниках. Наряду с фундаментальными трудами А. Н. Афанасьева, А. А. Коринфского, С. В. Максимова, А. Н. Минха, И. П. Сахарова, П. В. Шейна, И. М. Снегирева и А. В. Терещенко [12; 63; 73; 87; 165; 170; 181; 203] существовало и множество статей по специфическим аспектам деревенских праздников, вместе с заметками и комментариями этнографов-любителей, учителей, сельских священников, просвещенных помещиков, местных чиновников, увлекающихся деревенскими «увеселениями». Однако методологические и теоретические предпосылки у книги Проппа были существенно иными.

Во введении к «Русским аграрным праздникам» Пропп говорит о своем недовольстве русскими исследованиями XIX века, в которых события календарного обряда рассматривались якобы изолированно друг от друга, а не как взаимосвязанные части единого целого. В этой книге Пропп, как и в других своих работах, стремится установить основополагающие принципы крестьянского мировоззрения, пытается обнаружить сходство между обычаями, имеющими место в разное время года, и, в частности, обращает внимание на такие повторяющиеся в течение всего годового цикла элементы, как поминовение усопших и связанные с ним обрядовые игры — похороны антропоморфных фигур. Его подход к циклам календарной обрядовой деятельности

¹ В этой связи интересно отметить, что Пропп, озабоченный в молодые годы отсутствием корней в России и нуждавшийся в духовном руководстве, обратил свое внимание на Русскую Православную Церковь и в 1921 году поступил в только что открывшийся Петроградский богословский институт, где проучился очень недолго [21].

чрезвычайно близок его же подходу к структуре волшебной сказки. Он пишет о сходстве «мыслительной основы и морфологических черт» [145, с. 67] изучаемых праздников, что свидетельствует о том, что, вопреки некоторым поверхностным изменениям в направлении исследований Проппа, его методика, по сути дела, оставалась неизменной.

Отказавшись от хронологического подхода к календарным праздникам, характерного для его предшественников, Пропп посвящает свою книгу истолкованию определенных тем и мотивов (поминовение усопших, обрядовая еда, культ растительности, смерть и смех), составляющих главные семантические коды ритуалов и дающих крестьянскому календарю единство и цельность. Эти повторяющиеся элементы на протяжении всего года образуют основу, на которой Пропп строит свою теорию о возможном предназначении описываемых обычаев.

Вплоть до первого десятилетия XX века теоретические изыскания русских ученых об источниках, характере и целях обрядов, традиционно приуроченных к определенному времени года, базировались на двух, скорее дополняющих друг друга, чем противоборствующих, положениях: 1) обряд рождается из мифа, 2) при изучении календарных обрядов удобно разделить год на четыре сезона, а еще лучше — на два противоположных обрядовых цикла, один из которых характеризуется летним теплом и плодородием, другой — зимним холодом и бесплодием.

Такое деление года характерно, например, для мифологической школы. А. Н. Афанасьев, написавший в первой главе «Поэтических воззрений славян на природу» нечто похожее на «манифест» мифологического подхода, определяет его следующим образом: «Год (у древних славян. — Э. Э. У.) распадался на две половины, летнюю и зимнюю, и начинался с первого весеннего месяца — марта, так как именно с этой поры природа пробуждается от мертвенного сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего благодатного царства» [12, с. 659]. В разделенном таким образом году весна и осень рассматривались лишь как преддверие основных сезонов — лета и зимы.

Если именно чередование сезонов является определяющим в сельскохозяйственных ритуалах и праздниках, то из этого естественно вытекает предположение, сформулированное Афанасьевым: «Главная мысль, лежащая в основе простонародных праздничных обрядов, может быть выражена в этих немногих словах — смерть природы зимою и обновление или воскресение ея весною» [там же, с. 683]. Празднование Масленицы, например, с характерным для нее сочетанием тепла и света, в виде традиционных костров, с унынием и мраком, представленными «смертью» чучела Масленицы, вполне соответствовало, согласно мифологам, подобной интерпретации. Следуя Афанасьеву, А. А. Коринфский, например, пишет о наступающем празднике Масленицы именно так: «Сама природа к этому времени принимается ликовать, как бы предчувствуя приближение Весны-Красной и скорую гибель Мораны-зимы, внесшей в ея светлое царство оцепенение смерти» [63, с. 157]. Согласно Коринфскому, именно изображение Мораны, богини Зимы, жи-

гали на кострах, завершавших масленичную неделю, а в начале масленичной недели праздновали прибытие Лады, богини весеннего света. Неотъемлемой частью мировоззрения, представляющего годовой цикл природы как борьбу между силами Света и Тьмы, был культ Солнца. Именно как пережитки культа солнца Афанасьев и мифологи интерпретировали костры на Ивана Купалу и Масленицу. В своей статье о Яриле (1869) П. С. Ефименко определяет его как «бога весны или утреннего солнца» [42, с. 8].

Оценивая существенно иную интерпретацию календарных праздников Проплом, небезынтересно отметить, что некоторые его современники продолжали придерживаться взглядов мифологов. Например, Ю. М. Соколов и В. К. Соколова ссылаются на «солярные» аспекты Масленицы. Согласно Соколовой, характерные для Масленицы блины, горящие колеса или объезд вокруг деревни верхом на лошади (подражание движению солнца) должны были способствовать восстановлению силы Солнца [172, с. 147]. Интерпретация Соколовой Масленицы и других ритуалов, сопровождающих начало весны и лета, во многом совпадает с интерпретацией Афанасьева, Коринфского и других мифологов — то есть эти ритуалы отгоняли прочь или хоронили Зиму — богиню тьмы и смерти — и встречали Весну, приносящую свет, тепло и пробуждение природы [174, с. 11, 23, 234 и др.]. Так же как и они, Соколова видела в культовой функции огня на Масленицу и Ивана Купалу призывание и чествование Солнца.

На обсуждение русских календарных обрядов и ассоциирующихся с ними фигур больше столетия влияло представление мифологов о том, что именно вера человека в природные мифы заставляла его изображать смену сезонов антропоморфно, то есть воплощая в них духов и демиургов, которых необходимо ублажать, призывать, почитать. Начиная с книги «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева, мы можем проследить эту тему в трудах Фаминцына [192], Ефименко (1860–1890-е), Аничкова [8], Гальковского [32] и Коринфского (1900-е), вплоть до работ авторитетных авторов двадцатого века, хотя более поздние рассуждения о дохристианских славянских божествах отражают сильное влияние взглядов Дж. Г. Фрэзера на сельскохозяйственные культы. Так, например, В. В. Иванов, В. Н. Топоров [53] и Б. А. Рыбаков [162] связывают похоронные обряды-игры русского аграрно-календарного цикла с представлением об умирающих и воскресающих аграрных божествах. Несмотря на то что историко-этнографическая и археологическая методологии Рыбакова значительно более усовершенствованы, чем методы мифологов XIX века, его осторожная переоценка божественного статуса таких фигур, как Масленица, скорее вносит поправки в теории его предшественников, чем отрицает их: «Но сейчас уже можно сказать, что если у славян и не было богини Костромы, Купалы или Морены, столь же персонифицированной, как греческая Персефона, то, несомненно, был очень древний и общеславянский комплекс представлений о божестве растительной силы, ежегодно рождавшейся и ежегодно умиравшей» [там же, с. 379].

Предположения относительно аграрных праздников, выработанные Проппом в его книге, во многих отношениях радикально отличаются от сказанного выше. Прежде всего Пропп отказывается от предположения, что именно чередование сезонов и антропоморфные их представители играли решающую роль в формировании аграрного обрядового цикла.

Следует отметить, что даже в конце XIX века восприятие и организация времени русским крестьянином были иными, чем у горожан (или сегодняшних крестьян). «Часы в домах есть, но обычный распорядок дня регулирован временем восхода и захода солнца... Когда речь идет о более длительных промежутках времени, то ориентируются на праздники, отсчитывая время до и после каждого из них... Время найма определяют по постам и праздникам, начало пашни — праздниками и состоянием земли и погоды...» (с. Ляхи, Ляховская вол., Меленковский уезд, Владимирская губ., 1898 г.) [28, с. 172—173]. Трудно предположить, что крестьяне осознавали сезоны как абстрактные временные отрезки. Даже главные церковные праздники и дни памяти святых были связаны для них с сезонностью сельскохозяйственных работ или днями, удобными для предсказаний и просьб о погоде. Так, в день апостола Марка (8 мая по новому стилю, 25 апреля по старому) крестьяне просили святого о дожде в убеждении, что апостол хранит ключи от дождя; два дня св. пророка Еремея (14 мая и 13 июня по новому стилю, 1 мая и 31 мая по старому) отмечались началом и окончанием сева и т. д.

Простой хронологический обзор четырех времен года никак не может объяснить всю сложность и многогранность переплетающихся мотивов сельскохозяйственного календаря. Пропп одним из первых предпринял попытку более углубленной расшифровки символического языка аграрной обрядности. Предположение, что земледельческий ритуал в какой-то степени воспроизводил миф и, в конечном счете, был связан у мифологов своим происхождением, с религиозным мировоззрением, являлось первоосновой их теоретических взглядов. Пропп отвергает эту трактовку, в особенности отрицая роль солярного культа. Можно сказать, что тем самым он не только разделяет, но и развивает дальше скептицизм, уже высказанный в конце 1920-х годов одним из выдающихся русских этнографов XX столетия Д. К. Зелениным, который, говоря о зимних и летних обрядах, выразил надежду на то, что наука вскоре даст более точное объяснение этим ритуалам, чем солярная теория [49, с. 389].

По мнению Проппа, основополагающие ритмы и формальные принципы календарных обычаев непосредственно вытекают из материальных нужд крестьянства, из сезонных работ, требующих специфических действий, и благоприятных погодных условий для достижения желаемых результатов в определенные времена года. Рассуждая так, Пропп, до некоторой степени, следовал по пути, проложенному В. И. Чичеровым в его исследовании зимних земледельческих обычаев и ритуалов русских крестьян [198]. Хотя Чичеров не отрицает присутствия в ритуале или фольклоре элементов, заимствованных из мифологии и ранних форм религии, он не считает их основополагающими. В работах Проппа и Чичерова впервые в советской фольклористике

в центр аграрных праздников были поставлены не миф и не смена времен года, а схематизм, возникающий совершенно естественным образом из чередующихся циклов полевых работ.

В «Русских аграрных праздниках» Пропп ставил себе целью показать, каким образом праздники связаны с определенными потребностями крестьянства, и объяснить функцию каждого из них в общей структуре земледельческого года. Для него значимость описываемого материала обусловлена верой крестьянина в существование производительных сил природы и необходимостью «стимулировать» их в определенные периоды года для того, чтобы выжить. Вот что пишет Пропп, например, о троичных обычаях: «Рассмотрение материалов приводит нас к заключению, что троичный обряд, так же как и предшествующие ему обряды, отражает земледельческие интересы, выражает стремление земледельца повлиять на плодородие земли» [145, с. 77]. Для тезиса Проппа ключевой является отмеченная им связь между природными явлениями и культом мертвых.

Безусловно, Пропп не был первым русским ученым, отметившим несколько парадоксальное переплетение полярных тем «жизнь» и «смерть», проявляющееся во многих русских календарных обычаях. Еще в XIX веке, например, данному вопросу была посвящена статья Фаминцына «Богиня весны и смерти» (1895), хотя автор тут же пытается связать русские обычаи с древнегреческим мифом о Деметре и Персефоне [192, с. 677 и след.]. Соотношение смерти и природы было выдвинуто как фундаментальный принцип русской календарной обрядности исследователем начала XX века М. М. Гальковским: «В основе всех языческих праздников русского народа лежало поклонение природе — собственно солнцу, подателю тепла и урожая. Но к солнечному характеру празднеств присоединялся еще культ мертвых» [32, с. 85].

Гальковский, как и Пропп, был поражен парадоксальным сочетанием веселья и непристойного поведения на фоне торжественности, присущей смерти, не только во время поминок, но также и во время обрядовых игр, таких, например, как «похороны» Масленицы или святочного «умрана»: «И тем не менее, русалии — праздники в честь умерших — почти всегда сопровождались играми и плясками, что, по-видимому, не вяжется со скорбью, которая возникает у нас при потере близкого человека или даже при одном воспоминании о такой потере» [там же, с. 67]. Однако предлагаемое Гальковским объяснение этого нарушения приличий злоупотреблением спиртных напитков не выглядит убедительным.

Пропп отмечает постепенное нарастание поминальных ритуалов по мере продвижения года от зимнего к летнему солнцестоянию, объясняя его ключевое значение так: «Время между двумя солнцеворотами есть время пробуждения сил земли, нужных земледельцу. Культ мертвых стоит в связи с земледельческими интересами и стремлениями» [145, с. 22]. Культ мертвых вплоть до «кормления» и «согревания» умерших предков должен был умиловить их с целью повлиять на плодородие земли.

Здесь, кажется, было бы полезным проследить, до какой степени взгляды Проппа на календарную обрядность совпадают со взглядами Дж. Г. Фрэзера на роль умирающих и воскресающих духов или богов растительности, поскольку сферы интересов исследователей здесь явно пересекаются. Пропп согласен с теорией Фрэзера о том, что обряд был призван воздействовать на природу: «Она подтверждает, что названные обряды имели целью воздействовать на плодородие земли. Она объясняет далее, почему чучело, куклу или дерево убивали или хоронили, начиная с момента первых признаков пробуждения природы при зимнем солнцевороте, и прекращали эти обряды в момент наивысшего расцвета этих сил при летнем солнцевороте» [там же, с. 94]. Однако по многим ключевым вопросам Пропп и Фрэзер расходятся. Согласно Фрэзеру, например, логическим последствием ритуального «убийства» является воскрешение, в то время как для Проппа, принципиально отрицающего существование земледельческих богов у русских, никакого празднования воскрешения быть не может. Возможно, это не совсем верно. Говоря о широте эрудиции Фрэзера, Пропп отмечает его осведомленность даже об украинской обрядовой игре «Кострубонька», являющейся одним из вариантов «похорон Костромы». Но в той версии игры, на которую ссылается Фрэзер, явно упоминается воскрешение.

«Ожив, ожив наш Кострубонька!» [244, р. 317].

Необходимо также напомнить, что воскрешение «мертвой» Костромы является характерной особенностью популярной русской детской игры XIX века [328] и также может быть обнаружено в драматических инсценировках обрядовой игры, открытых в 1940-х годах Л. Кулаковским в деревне Дорошево Брянской области [66]. Однако в целом будет справедливо отметить, что идея воскрешения в русском обряде, за очень редкими исключениями, не выражена открыто.

Как полагает Пропп, следствием уничтожения антропоморфных фигур является не воскрешение, а передача обратно в землю силы плодородия, необходимой для получения хорошего урожая в следующем году. Фигуры олицетворяют не «богов» или «духов», а саму производительную силу природы. Крайне примитивный и непосредственный характер этого земледельческого культа подчеркивается Проппом: «Святочный умрун, чучело масленицы, троичная березка, Кострома, Иван Купала — не божества. Им не воздавали культов, нет никаких признаков, что в их честь воздвигались храмы. Русский обряд по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточные и античные культы». Русский материал показывает «земледельческую религию в ее исконных, древнейших формах» [145, с. 97—98]. Это весьма оригинальное предположение до сих пор недостаточно освещено в российской фольклористике.

Проппа глубоко интересовал не поддающийся простому объяснению вопрос о ритуальном смехе, то есть смехе, сопровождающем церемонии, по сути своей, казалось бы, печальные: «смерть» и «похороны» ритуальных фигур. Этот вопрос стал предметом рассмотрения в опубликованной им в 1939 году статье, посвященной русской сказке о царевне Несмеяне [114]. Здесь главная предпо-

сылка Проппа заключается в том, что смех некогда имел жизнетворящее и (по крайней мере, до появления земледелия, пока механизм зачатия еще не был ясно осознан) сексуальное, хотя и не эротическое, значение. Пропп приводит примеры из мифов, сказок и древней ритуальной практики как доказательство того, что именно способность смеяться считалась признаком, отличающим живых от мертвых. В царстве мертвых смех был запрещен. Более активную роль смеха Пропп отмечает в некоторых легендах о сотворении миров. Новый мир может возникнуть как прямой результат божественного смеха.

То, что смех может также предшествовать или сопровождать роды, Пропп показывает на этнографических материалах из жизни якутов. Установив взаимосвязь между смехом и плодovitостью, Пропп выдвигает предположение, что в земледельческих ритуалах смех и грубые эротические шутки обеспечивают земле плодородие. Согласно Проппу, «этот смех является актом набожности, превращающим смерть в новое рождение». Ритуальному убийству якобы живого существа (нередко чучело намеренно «умерщвляли», разрывая его на части, вместо того чтобы похоронить его «труп») предшествует смех, и оно сопровождается смехом. Но это является обязательной прелюдией к возрождению существа не в антропоморфной форме как предмета обожествления, а в растительной, то есть способствует произрастанию злаков.

Интересно отметить, что в России сочетание смеха и веселья с похоронными мотивами было очень характерным для Масленицы, проявляясь значительно слабее в похоронных играх в другое время года. Как писала В. К. Соколова о Масленице: «Это была не чинная похоронная процессия, а какое-то шутовское действо» [174, с. 31]. Праздник Масленицы характеризовался шумом, грубыми, порою и непристойными, шутками и дикими проделками, пьянством и всевозможными бесстыдными нелепостями. Здесь можно вспомнить о том, что М. М. Бахтин, ссылаясь на масленичные карнавальные празднества в средневековой Европе, называл «*gabaissement*» — издевательство, которое как бы «снижает» и унижает, заставляя спуститься от возвышенного, небесного и духовного к обыденному и земному и параллельно с этим к осознанию «срамного» в человеческом теле [214, р. 30]. Согласно Бахтину, первобытный и античный миры допускали двойственное мировоззрение, в котором серьезное и комическое, божественное и земное могли сосуществовать на равных правах. С наступлением Средневековья, когда появились понятия государственности и классовости, гармоническое сосуществование этих элементов было заменено их противостоянием, то есть рядом с официальными и церковными церемониями, включая похороны, проходили и шутовские празднества, воспринимающиеся теперь уже как проявление отдельной культуры масс, пародийной, негативной, богохульной, хотя еще и допустимой в определенных, ясно очерченных рамках. Таков же шутовской настрой русского празднования «похорон Масленицы». Любопытно, что Пропп и Бахтин приходят к близким заключениям о природе смеха, хотя и подходят к этому вопросу с противоположных сторон. Для Проппа смех — это магическое действие, сопровождающее и даже созидающее но-

вую жизнь. Для Бахтина — это проявление двойственности средневекового мира, в котором смеховое начало карнавала и пародийные похороны заключают в себе не только смерть и отрицание, но также жизнь и утверждение, напоминание о том, что земля не только могила, но и лоно, не только конец, но и начало.

Учитывая значительные достижения в фольклористике и антропологии со времени первого издания этой книги Проппа, со многими ее утверждениями мы сейчас не можем согласиться. Как ни парадоксально, то, что было новым в его подходе к аграрным праздникам, то есть внимание к сходству между разными ритуалами в ущерб совокупности элементов, составляющей каждый в отдельности, заставляет иногда насторожиться. Например, возникает вопрос, все ли русские игры, изображающие ритуальную смерть и похороны, имеют одно и то же назначение. Ведь крестьяне относились по-разному к «умершим» или «умерщвляемым» объектам обрядов. Некоторых они боялись, других нет. Так, например, по отношению к Масленице, троичному деревцу или Ивану Купале не было страха. Святочные игры в умруна, с другой стороны, возбуждали сильный страх и отвращение. В отличие от фигур весенне-летних игрищ, умрун сознательно представлялся в ужасающем и отталкивающем виде: с выбеленным лицом и торчащими, как у вампира, клыками. В XIX веке известны случаи девичьих обмороков и даже смерти от ужаса при виде умруна. К тому же инициаторами этой игры были деревенские парни, а «зрителями» — девушки. «Труп» всегда был мужского пола, часто обнаженным, а девушек заставляли целовать его [подробнее см.: 329, р. 73—74]. Здесь страх является существенным элементом происходящего, связывая игру в умруна с крестьянскими верованиями и быличками о вампирах и других нечистых покойниках и напоминая, что смех был не единственной эмоциональной реакцией на эти фигуры. В играх, которые имели место позже в годовом цикле, антропоморфная фигура, представлявшая смерть или покойника, могла быть как мужского, так и женского пола (за исключением троичного деревца и русалок, которые всегда представлялись в женском облике), но сама фигура изготавливалась исключительно женщинами. Распределение функций по гендерным соображениям — это еще одна из областей, к которым не обращался Пропп.

Как бы то ни было, книга В. Я. Проппа «Русские аграрные праздники» внесла существенный вклад в изучение русских аграрных обрядов, выдвинув на передний план важность объединяющих их структурных принципов. Эта книга является одной из первых попыток в российской фольклористике расшифровать кодовую систему ритуального поведения.

Заключение

Последние работы и посмертные издания

В 1969 году Пропп ушел на пенсию, несмотря на все попытки коллег и ректора Ленинградского университета отговорить его от этого шага. Он сохранил удивительную ясность ума, но тем не менее утверждал: «Каждый человек должен знать сам, когда ему нужно красиво уйти». Встретив на улице К. В. Чистова, Пропп сказал ему, что больше не хочет вести научную работу или читать лекции, а собирается заняться древнерусским искусством «для себя». Он проводит много времени в Русском музее, изучая иконы, поскольку с ранних лет интересовался иконографией. В молодости он открыл для себя не только внешнюю красоту икон, но и их духовное значение. В биографическом очерке 1921 года он описывает свои первые впечатления от икон как откровение [21, с. 174]. Давний его интерес к иконографии, особенно к северно-русским иконам староверов и церковной архитектуре, вновь вернулся к нему в 1960-е годы во время поездок в Петрозаводск и в заповедник деревянного зодчества — Кижи. Несмотря на свое решение больше не читать лекции, Пропп не смог отказаться от предложения выступить с докладом, представив результаты своих новых исследований. Этот доклад был опубликован уже после его смерти, в 1973 году, под названием «Змеборство Георгия в свете фольклора» [136].

В 1976 году вышла в свет небольшая монография Проппа «Проблемы комизма и смеха» [133], в которую вошли его лекции по теории юмора. Одна из глав посвящена ритуальному смеху, однако в целом она не добавляет ничего нового к нашему знанию о теоретическом мышлении Проппа. Более того, поскольку Пропп черпает большую часть материала из произведений классиков русской литературы XIX века, его работа может вызвать интерес у литературоведа, но содержит мало интересного для фольклориста.

В 1984 году был опубликован сборник статей Проппа, посвященных русским народным сказкам [140]. Основой этого сборника стали лекции, прочитанные им в Ленинградском университете в начале 1960-х годов. Знакомя читателя с основными аспектами сказковедения, они не добавляют почти ничего нового к уже известным нам взглядам Проппа. Правда, в этой книге Пропп впервые затрагивает новеллистические сказки и сказки о животных. Последняя глава, посвященная сказителю, тоже содержит новую в работах Проппа тему, но в основном он лишь обобщает результаты своего более чем тридцатилетнего исследовательского опыта.

Книга снабжена емким предисловием, написанным К. В. Чистовым, в котором предпринята попытка рассеять некоторые заблуждения западных критиков, связанные с исследованиями Проппа.

* * *

Владимир Яковлевич Пропп сыграл важнейшую роль в развитии советских исследований в области фольклора. В его трудах были поставлены ключевые вопросы фольклористики, долгое время остававшиеся в центре научных дискуссий: об особой природе фольклора, его связи с этнографией, об определении жанров, о происхождении и эволюции форм фольклора как части исторического процесса, о поисках общих структур и закономерностей в развитии фольклора.

Само собой разумеется, что условия, в которых Пропп формировался как ученый, трудно назвать «интеллектуальным вакуумом». Его труды не только продолжают традиции его знаменитых предшественников, в частности А. Н. Веселовского, но и отражают общие тенденции и направления фольклористики, бытовавшие в течение долгих лет его продуктивной научной деятельности. Научная деятельность Проппа охватывает четыре десятилетия, за которые Россия перенесла немало испытаний и трудностей, повлекших за собой изменения политической и идеологической ориентации. Проппу суждено было жить и работать в тяжелое, даже опасное время, когда научные исследования были скованы требованиями политического диктата. Правда, по-настоящему это отразилось только на его монографии «Русский героический эпос» и на некоторых статьях на ту же тему. Конечно же, В. Я. Пропп был в полной мере ученым своего времени, но, что важнее, в его работах в большей степени, чем, возможно, у кого-либо из его коллег, прослеживается нить, связывающая научные традиции XIX века с веяниями эпохи, в которую он жил. Поэтому вполне можно было ожидать, что Пропп ограничится тем, что пойдет по пути, уже проторенному другими. В действительности же мы наблюдаем совсем иное. Его работы, хотя иногда и откликаются на исследования его предшественников, являются глубоко оригинальными, выходят за рамки существующих границ.

Можно, например, согласиться с тем, что основной тезис книги «Исторические корни волшебной сказки», где Пропп связывает процесс возникновения волшебной сказки с обрядами, в частности с обрядом инициации, уже был прослежен в работах Лурье, Сентива, Фрэзера и других. Однако утверждение Проппа о том, что волшебная сказка должна рассматриваться как некое художественное единство с унифицированной нарративной основой, а не как набор отдельных мотивов, которые могут изучаться в отрыве от общей структурной целостности, внесло совершенно новый элемент в это направление фольклористики.

Оригинальность концепций Проппа, его зачастую нетрадиционные взгляды по-прежнему остаются предметом дискуссий. На Западе это вызыва-

но в какой-то мере незнанием некоторых его работ, но частично может объясняться и тем фактом, что, благодаря доминирующей роли «структуралистического» подхода в фольклористике, Проппа воспринимали вне России преимущественно как автора, перу которого принадлежит лишь одна основополагающая монография — «Морфология сказки». Остальные его труды часто отвергались, поскольку, по мнению критиков, являли собой отказ от его же собственных изначальных принципов. Среди западных ученых, до некоторой степени знакомых с этими исследованиями, бытовало мнение о том, что они уже устарели и не представляют большого интереса для современной фольклористики.

Чтобы понять значение творчества Проппа и его вклад в изучение фольклора, необходимо хорошо знать все его наследие. Разумеется, Пропп — более крупная величина, чем просто автор книги «Морфология сказки». Все его работы вместе взятые представляют собой одно органическое целое, которое характеризуется высокой степенью последовательности, внутренней целостностью и логическим развитием научного мышления.

Если взглянуть на творчество Проппа в целом, то может создаться впечатление, что его основными качествами являются широта охвата, разнообразие изучаемых предметов. Пропп исследовал главные жанры фольклора: сказку (волшебную сказку, новеллистическую сказку, кумулятивную сказку, сказки о животных), былину и другие исторические жанры, легенды и народные песни. Он внес существенный вклад в изучение русской этнографии, особенно аграрных обрядов и календарных праздников. Свои первые исследования Пропп сделал в области германистики. Также он писал о русской литературе XIX века, о религиозном искусстве и его связи с фольклором. Подобное разнообразие интересов характерно для всех основных трудов Проппа.

Однако наиболее удивительным является ощущение единства, которое пронизывает все это разнообразие. Даже имея поверхностное представление о книгах и статьях Проппа, можно легко заметить, что его особенно привлекало изучение народной сказки, которая была объектом исследования не только в двух его первых монографиях, но и в его последней публикации — посмертном издании «Русской народной сказки». Однако не выделение какого-либо отдельного жанра определяет эту последовательность, а методика, используемая ученым для изучения жанра.

Одной из основных теоретических посылок всего его творчества является принцип, согласно которому, прежде чем приступить к серьезному изучению содержания того или иного жанра фольклора, необходимо иметь ясное представление о конкретной природе этого жанра. Понятие жанра для Проппа включает в себя целый набор характерных признаков, из которых определяющая роль отводится структуре. Однажды он заметил в своем дневнике: «Моя несчастная способность сразу видеть форму...» [153, с. 166]. Поэтому установление структурных типологий является общей темой, пронизывающей все его работы. Наиболее отчетливо это проявляется в его исследованиях народной сказки. На этом принципе строится вся «Морфология сказки», но это

же лежит и в основе его исследования генезиса сказки («Исторические корни волшебной сказки»); этот принцип прослеживается и в его статье о куммулятивных сказках [139, с. 241—257]. Наряду с этим Пропп придает большое значение и структуре в определении эпических форм. По целому ряду причин, не относящихся к науке, о которых говорилось выше, ему не удалось осуществить первоначальные намерения разработать детальную структурную типологию былин, как он это сделал в отношении волшебной сказки. Первоначально предполагалось, что разработка такой типологии создаст теоретическую базу для исследования исторического развития былин в книге «Русский героический эпос». Однако к тому времени, когда Пропп приступил к этой работе, исторический фольклор и, в особенности, былины стали предметом бурных дебатов в русской фольклористике, и вопрос о том, как их нужно изучать, был неразрывно связан с осознанием исторической судьбы России.

В то время когда Пропп писал свою монографию, произошли события, на много лет вперед определившие официальное направление исторической фольклористики в Советском Союзе. Было создано несколько всесоюзных конференций и симпозиумов, посвященных обсуждению принципов изучения исторического фольклора, а также изучению фольклора в целом с исторической точки зрения. Так, стадийный подход в изучении исторического фольклора стал предметом нескольких докладов на одном из первых подобных симпозиумов, состоявшихся в ноябре 1953 года в Ленинграде в Институте русской литературы (Пушкинском доме), который в период ждановщины подвергся чисткам и идеологическому нажиму. Другой симпозиум, организованный совместно с Институтом всемирной литературы и Институтом истории искусств, фольклора и этнографии в Москве в июне 1954 года, был посвящен изучению эпического фольклора народов СССР. В мае 1956 года (то есть уже после публикации «Русского героического эпоса») вопрос об историческом, или, точнее, стадийном, развитии эпоса славян был утвержден в качестве основной темы для обсуждения на международном конгрессе славистов, который должен был состояться в Москве в 1958 году. Одно из замечаний, сделанное Проппом в конце 1950-х годов, раскрывает сущность этих мероприятий: «Вопрос из узко академического превращался в вопрос широкого общественного значения» [125, с. 301].

Только принимая во внимание все эти события, можно понять, почему Пропп в «Русском героическом эпосе» перешел от структуральной типологии к исторической. Несмотря на этот переход, во введении к книге, где предпринимается попытка дать определение былинному жанру, Пропп все еще утверждает, что фольклорные жанры представляют собой определенный комплекс специфических черт, среди которых особое значение имеет поэтическая форма, отличающая, по сути дела, былинку от исторической песни и баллады. Первоначальные намерения Проппа ясно очерчены в его короткой, хотя и весьма ценной, статье «Чукотский миф и гилацкий эпос», написанной за 10 лет до публикации «Русского героического эпоса». Здесь намечается равновесие между структурой и формой, с одной стороны, и

историко-эволюционными критериями — с другой. Пропп проводит сравнительный анализ чукотских шаманских мифов и эпических поэм (*настунд*) гиляков, исходя из положения о том, что исконный эпос этих этносов содержит общую композиционную структуру. Однако обнаружение основополагающего композиционного единства в этом случае не является единственной целью. Проппа больше интересует трансформирование этого единства под влиянием меняющихся исторических условий. Он утверждает, что формирование жанров является эволюционным процессом: «Сопоставление шаманского мифа и примитивного эпоса, произведенное на материале двух народов, еще не позволяет сделать общих выводов. Однако мы имеем все же не случайное, а закономерное явление, и вопрос о первичной шаманской основе эпоса все же может быть поставлен. Расположение эпоса других народов в историческом порядке вскроет все внутренние процессы становления и развития эпоса в зависимости от их социальной и политической истории» [117, с. 30].

Для Проппа и в области этнографии форма представляет собой исходную посылку. Он раскрывает смысл и функцию календарных обрядов и праздников путем изучения и сравнительного анализа их составных элементов, применяя методiku, мало отличающуюся от той, которую он использовал для изучения волшебной сказки: «Изучив составные элементы, нетрудно будет восстановить и изучить весь ход каждого праздника уже на более широкой и углубленной основе» [145, с. 12].

В статье, посвященной Проппу и его книге «Морфология сказки», Клод Леви-Стросс высказал критические замечания по поводу того, что ему показалось формалистическим разделением формы и содержания у Проппа. Как известно, в своем ответе Леви-Строссу Пропп категорически отверг эти обвинения [139; см. также: 265]. Хотя в этом случае его аргументация была в основном сконцентрирована на защите теоретических основ «Морфологии сказки», важным является то, что для Проппа неразрывность формы и содержания фольклора была общим принципом. В статье «Принципы классификации фольклорных жанров» (1964) он писал: «Так как фольклор состоит из произведений словесного искусства, прежде всего необходимо изучить особенности и закономерности этого вида творчества, его поэтику. Зоологи только тогда могли создать научную систематику, когда были изучены скелеты животных, строение их тела, способы передвижения, а также отношение к окружающей среде, особенности питания, размножения и т. д. То же *mutatis mutandis* относится и к нашей науке. Под поэтикой понимается совокупность приемов для выражения художественных целей и эмоционального и мыслительного мира, или короче — изучение формы в связи с ее конкретным, фактуальным и идейным содержанием» [131, с. 148].

Для Проппа несомненным является то, что структура и форма произведения не только не отделены от содержания, но в действительности информируют нас о нем. Стереотипные структуры и схемы фольклора и обряда передают сигналы о разнообразии человеческой деятельности и могут даже

рассматриваться в этом отношении как модели. Так, согласно Проппу, волшебная сказка несет информацию относительно определенных стадий человеческой жизни, былина содержит сведения об истории, а аграрный обряд — о способах воздействия на плодоносящую силу земли. В кумулятивных сказках, явно отличающихся по своей структуре от волшебных («Основной художественный прием этих сказок состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается или же не расплетается в обратном порядке» [139, с. 243]), Пропп улавливает отзвуки мышления первобытного человека, связанного с понятиями времени и пространства.

Во всех трудах Проппа прослеживается его твердая убежденность в том, что, вне зависимости от жанра, произведения фольклора возникают и развиваются в тесной связи с историческими процессами и условиями, в которых жили создававшие их люди. В статье «Трансформации волшебной сказки», опубликованной в том же году, что и «Морфология сказки», это положение сформулировано абсолютно четко. Обсуждая общие принципы, лежащие в основе процесса трансформаций, Пропп пишет: «Сказку надо рассмотреть в связи с ее окружением, с той обстановкой, в которой она создавалась и бытует. Здесь наибольшее значение будут иметь для нас быт и религия, в широком смысле этого слова. Причины трансформации часто лежат вне сказки, и без привлечения сравнительного материала из окружения сказки мы не поймем ее эволюции» [109, с. 72–73].

Те же принципиальные положения можно найти в статьях, написанных в 1941 и 1945 годах, то есть в промежутке между публикациями первой и второй монографий. В этих статьях обсуждаются фольклорные мотивы чудесного рождения и мифа об Эдипе. В отличие от более ранних исследователей, сконцентрировавших свое внимание на религиозном контексте сюжета о чудесном рождении, Пропп заявляет: «Наша задача другая и более скромная: мы исследуем сказку и хотим соотнести фольклорные материалы с фактами исторической действительности, чтобы объяснить этим наличие в сказке мотива чудесного рождения и найти его источники» [115, с. 67].

Гипотеза о существовании органической связи между фольклорным текстом и различными феноменами повседневной жизни лежит в основе всего творчества Проппа: в его исследованиях по структуре и форме, по определению жанров, в его изучении происхождения и эволюции жанров и фольклора в историческом контексте. Однако предположение о том, что Пропп имел в виду примитивное, прямолинейное восприятие фольклорным текстом конкретных деталей реальной жизни, было бы неверным. Описание прозаической стороны жизни в семье или в производственном коллективе не являлось, по мнению Проппа, целью создателей большинства фольклорных жанров и, в особенности, создателей волшебной сказки. В статье «Трансформации волшебной сказки» Пропп специально предупреждает об опасности преувеличения роли отражения повседневной жизни при создании волшебной сказки: «Мы можем решить вопрос об отношении сказки

к быту лишь в том случае, если будем помнить, что художественный реализм и наличие бытовых элементов — понятия разные и не всегда друг друга покрывающие» [109, с. 76].

Пропп никогда не забывает о том, что фольклор является формой художественного творчества, которая подчиняется собственным глубоко индивидуальным закономерностям. Фольклор почти всегда отражает реальную жизнь лишь косвенно, причем каждый индивидуальный жанр, будь то былина, историческая песня или сказка, баллада или лирическая песня, отличается от других именно тем, как он отражает реальность, какие ее аспекты являются для него существенными и какие художественные приемы используются им при трансформации реальности в искусство. Другим важным фактором при установлении связи между фольклорным текстом и реальностью была для Проппа предпосылка, что историческая эпоха и сопровождающие ее изменения условий могут определить и возникновение жанра, и его последующую форму.

Реальность по отношению к фольклору, согласно Проппу, включала в себя мировоззренческие и познавательные системы, а также обряды, ритуалы и относящиеся к ним социальные институты. В этом контексте внешние структуры и поэтическая форма фольклорных текстов могут восприниматься как отражение этих глубинных семантических уровней.

Подобное понимание фольклора объясняет еще одну грань научного облика Проппа — его глубокий интерес к этнографии. Он часто обращался к этнографии, особенно когда работал над проблемами происхождения и ранних стадий развития фольклорных жанров. «Исторические корни волшебной сказки» и статьи по той же тематике наиболее ярко отражают именно этот подход. Но и другие исследования — исследования ранних эпических форм, мифа об Эдипе и, разумеется, календарных обрядов — также предполагают наличие этнографического контекста.

В «Исторических корнях волшебной сказки» Пропп заложил твердую основу для нового методологического подхода к изучению фольклора, при котором на материале фольклора и близких к нему научных областей исследуется феномен фольклора в целом. Этот подход был межэтническим, компаративным и историческим. Разумеется, Пропп не был первым исследователем, обратившимся к тому, что впоследствии стало называться в советской фольклористике «историко-типологическим методом». В конце 1920 — начале 1930-х годов многие русские литературоведы, исследовавшие не только фольклор, но и древнюю и классическую литературу, обращали внимание на существование устойчивых моделей и стремились объяснить их закономерности как на межнациональном уровне, так и внутри эволюционного контекста. Можно назвать, к примеру, В. М. Жирмунского, И. М. Тронского, которые проводили сравнение сказки с произведениями античной литературы, а также обратиться к работам И. И. Толстого.

Оглянувшись в прошлое, мы можем установить корни этой методологии у А. Н. Веселовского, в особенности в его «Исторической поэтике». Однако Пропп, используя одновременно структурные и культурологические мо-

дели, созданные на основе компаративного и исторического подхода, разработал новую научную методологию, показавшую себя весьма эффективной в советском литературоведении и широко использовавшуюся в 1980-е годы и позднее [55, с. 167]. В статье 1978 года о народной сказке А. А. Иванова характеризует ее так: «Путем наложения друг на друга исходных моделей этнографических субстратов разных народов мы можем с помощью одних систем заполнить „белые пятна“ в других» [там же, с. 116].

Из ученых, наиболее плодотворно разрабатывавших этот метод в современной интерпретации, в первую очередь следует назвать Т. А. Бернштам. Подытоживая результаты фольклорных и этнографических исследований в конце 1980-х—начале 1990-х годов, она выявляет три основных принципа методологического подхода к анализу фольклорных текстов: «морфологический, структурно-типологический и сравнительно (историко)-типологический. Методико-теоретическое значение мирового уровня не только для фольклористики, но также и для этнографии и лингвистики, имеют труды В. Я. Проппа» [20, с. 30].

Во всех трудах Проппа отчетливо видны широта взглядов, стремление к всеобъемлющему охвату материала, либо выходящему за пределы этнических общностей, либо уходящему в далекое прошлое, тяга к определению и систематизации устойчивых фольклорных моделей. В книге «Русские аграрные праздники» он писал: «Задача науки состоит не только в том, чтобы нарисовать детальную или даже исчерпывающую картину; одна из главных ее целей — установление закономерностей» [145, с. 136].

Пропп впервые исследовал народную сказку, былину, а также аграрные обряды как единое целое. За исключением книги В. И. Чичерова о зимнем периоде русского народного календаря [198], до Проппа практически не существовало ни одного серьезного анализа русских аграрных обрядов и календарных праздников.

«Русские аграрные праздники» примечательны тем, что внесли в русскую этнографию понятие об обрядовых семантических кодах, выделенных из структурных синтагм праздников и обрядовых ритуалов аграрного года. Эта книга Проппа совместно с упомянутой выше книгой Чичерова оказала сильнейшее влияние на развитие исследований календарных обрядов в 1970—1990-е годы: работы Т. А. Бернштам, А. К. Байбурина, Ф. Ф. Болонева, Н. Н. Велецкой и многих других.

Разумеется, исследования Проппа не лишены погрешностей, вне зависимости от того, принимаем ли мы вообще его теоретические посылки или конкретные открытия в различных сферах фольклористики. Но наследие Проппа никого не может оставить равнодушным. Несмотря на тот факт, что некоторые его взгляды, естественно, уже устарели, они, тем не менее, побуждают читателя к размышлениям. Вновь и вновь возвращаясь к трудам Проппа, фольклористы, этнографы и лингвисты продолжают адаптировать его идеи или использовать их как своего рода трамплин для развития новых теорий.

Пропп был не только выдающимся ученым, но и весьма почитаемым наставником, сформировавшим мышление нескольких поколений крупных фольклористов и этнографов, таких как Н. А. Бутинов, М. С. Бутинова, В. И. Еремина, И. И. Земцовский, Л. М. Ивлева, Л. М. Неклюдов, А. Ф. Некрылова, Е. С. Новик, Ю. И. Юдин и многих других. Он был автором многочисленных рецензий, регулярно принимал участие в издании крупнейших библиографических справочников по фольклору, был прекрасным редактором. В этой связи уместно упомянуть его работу (совместно с Б. Н. Путиловым) над двухтомным сборником «Былины» (1958), его участие в подготовке издания русских сказок А. Н. Афанасьева, а также сборника северных русских сказок А. И. Никифорова [14; 27; 165].

Владимир Яковлевич Пропп был довольно противоречивым и неоднозначным человеком: фольклорист, писавший о русских песнях, но при этом ненавидящий их звучание; приверженец классической музыки и пианист почти профессионального уровня; ученый, избегавший экспедиций в деревню, но вместе с тем обожавший русскую природу и не упускавший возможности «поболтать» в лодке на затерянном в глуши озере...

Его друг и коллега Кирилл Васильевич Чистов как-то в разговоре со мной назвал Проппа «кошкой, которая гуляла сама по себе». С этим определением, как мне кажется, вполне можно согласиться.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Азадовский М. К. С. Ф. Ольденбург и русская фольклористика // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932: Сборник статей. Л., 1934. С. 25—35.
- [2] Азадовский М. К. Памяти Н. Я. Марра: 1864—1934 // Советский фольклор. 1935. Т. 2—3. С. 5—20.
- [3] Азадовский М. К. Советская фольклористика за 20 лет // Советский фольклор. Т. 6. М.; Л., 1939. С. 3—53.
- [4] Азадовский К. М., Егоров Б. Ф. О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949 // Звезда. 1989. № 6. С. 157—176.
- [5] Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982.
- [6] Аникин В. П. Русская народная сказка. — М., 1959.
- [7] Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М., 1980.
- [8] Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у Славян. Ч. I. СПб., 1903; Ч. II. СПб., 1905.
- [9] Антипова-Пропп Е. Я., Мельц М. Я. Список работ В. Я. Проппа за 1965—1971 годы // Русский фольклор. Т. 13. Л., 1972. С. 258—259.
- [10] Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948.
- [11] Астахова А. М. Былины: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966.
- [12] Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1865—1869.
- [13] Афанасьев А. Н. Народные русские сказки / Под ред. М. К. Азадовского, Н. П. Андреева и Ю. М. Соколова: В 3 т. Л., 1936—1940.
- [14] Афанасьев А. Н. Народные русские сказки / Подготовка текстов, предисл. и коммент. В. Я. Проппа. В 3 т. М., 1957.
- [15] Байбури А. К. Ритуал в традиционной культуре. Л., 1993.
- [16] Балашов Д. М. Из истории русского былинного эпоса («Потык» и «Микула Селянинович») // Русский фольклор. Т. 15. Л., 1975. С. 26—54.
- [17] Берков П. Н. Чествование проф. Владимира Яковлевича Проппа // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. Т. 24. Вып. 6. М., 1965. С. 558—559.
- [18] Берков П. Н. Метод исследования народного творчества в трудах В. Я. Проппа (К 70-летию со дня рождения) // Вестник Ленинградского государственного университета. № 2. Серия истории языка и литературы. Вып. 1. Л., 1966. С. 111—116.
- [19] Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины конца XIX—начала XX века: половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1989.
- [20] Бернштам Т. А. Новые перспективы в познании и изучении традиционной народной культуры. Киев, 1993.
- [21] Бовкало А. А. В. Я. Пропп и Петроградский богословский институт // Кунсткамера. Вып. 8—9. СПб., 1995. С. 173—175.
- [22] Большевицкая партийность — основа советского литературоведения // Литературная газета. 1948. 13 ноября.
- [23] Броневский В. Отечественные известия о народных праздниках // Московский вестник. 1827. Ч. 6. № 23. С. 351—366.
- [24] Былинное творчество северных крестьян // Былины севера / Предисл. и коммент. А. М. Астаховой; под ред. М. К. Азадовского. Т. 1. Мезень и Печора. М.; Л., 1938.
- [25] Былины / Предисловие, подготовка текста и коммент. Б. Н. Путилова. Л., 1957. (Библиотека поэта. Большая серия).
- [26] Былины / Ред., предисл. и коммент. П. Д. Ухова. М., 1957.

- [27] Былины / Под ред. В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова: В 2 т. М., 1958.
- [28] Быт великорусских крестьян-землепашцев (описание материалов этнографического бюро князя В. Н. Тенишева) / Сост.: Б. М. Фирсов и И. Г. Киселева. СПб., 1993.
- [29] *Веселовский А. Н.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. СПб., 1913.
- [30] Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов (XIX—начало XX в.). М., 1979.
- [31] *Волков Р. М.* Сказка: Разыскания по сюжетосложению народной сказки. Т. 1: Сказка великорусская, украинская, белорусская. Одесса, 1924.
- [32] *Гальковский Н. М.* Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т. 1. Харьков, 1916.
- [33] *Гиппиус Е. В., Чичеров В. И.* Советская фольклористика за 30 лет // Советская этнография. 1947. № 4. С. 29—70.
- [34] *Горелов А. А.* Памяти В. Я. Проппа (1895—1970) // Русский фольклор. Л., 1972. Т. 13. С. 253—257.
- [35] *Дементьев А. Г.* За большевистскую партийность в литературоведении // Вестник Ленинградского университета. 1948. № 4. С. 78—86.
- [36] *Дмитраков И. П.* Теория аристократического происхождения фольклора и ее реакционная сущность // Советская этнография. 1950. № 1. С. 155—169.
- [37] *Дмитраков И., Кузнецов М.* Александр Веселовский и его последователи // Октябрь. 1947. № 12. С. 165—174.
- [38] *Емельянов Л. И.* Книга о русском героическом эпосе // Вечерний Ленинград. 1955. 24 ноября.
- [39] *Емельянов Л. И.* Некоторые вопросы генезиса исторической песни // Историко-литературный сборник / Под ред. В. Г. Базанова, В. Е. Гусева и В. А. Ковалева. М.; Л., 1957. С. 33—92.
- [40] *Емельянов Л. И.* Методологические принципы исторической школы и их критика в советской фольклористике // Русский фольклор. Т. 16: Историческая жизнь народной поэзии. Л., 1976. С. 3—34.
- [41] *Ермина В. И.* О двух книгах Проппа // Русский фольклор. Т. 19: Вопросы теории фольклора. Л., 1979. С. 200—206.
- [42] *Ефименко П. С.* О Яриле, языческом божестве русских славян // Записки русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1869. Т. 2. С. 8.
- [43] *Жирмунский В. М.* Проблема фольклора // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности (1882—1932): Сборник статей. Л., 1934. С. 195—213.
- [44] *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение и проблема литературных влияний // Известия Академии наук СССР. Отдел общественных наук. 1936. № 3. С. 383—403.
- [45] *Жирмунский В. М.* Пропп В. Я. «Исторические корни волшебной сказки» (1946) // Советская книга. 1947. Т. 5. С. 97—103.
- [46] *Жирмунский В. М.* Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. М.; Л., 1962.
- [47] *Зеленин Д. К.* Обзор кн. Проппа «Морфология сказки» (1928) // Slawische Rundschau. Berlin, 1929. N 4. S. 286—287.
- [48] *Зеленин Д. К.* Религиозно-магическая функция фольклорных сказок // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности (1882—1932): Сборник статей. Л., 1934. С. 215—240.
- [49] *Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография // Перевод с нем. К. Д. Цивинной; под ред. К. В. Чистова. М., 1991.
- [50] *Землянова Л. М.* Современная американская фольклористика. Теоретические направления и тенденции / Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1973.
- [51] *И. З.* Заседание ученого совета филологического факультета // Вестник Ленинградского университета. Л., 1948. Т. 4. С. 132—137.

- [52] *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание (V Международный съезд славистов: доклады советской делегации). М., 1963. С. 88–158.
- [53] *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- [54] *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору: Сборник статей памяти В. Я. Проппа (1897–1970). М., 1975. С. 44–76.
- [55] *Иванова А. А.* К вопросу о происхождении вымысла в волшебных сказках // Советская этнография. 1979. № 3. С. 114–220.
- [56] *Избранные былины* / Под ред. А. Астаховой. Петрозаводск, 1947.
- [57] *Исторические песни* / Ред., предисл. и коммент. В. И. Чичерова. 3-е изд. Л., 1956 (Библиотека поэта. Малая серия).
- [58] *Исторические песни XII–XVI веков* / Под ред. Б. Н. Путилова и Б. М. Добровольского. М.; Л., 1960.
- [59] *Келтуяла В. А.* Краткий курс истории русской литературы для средних учебных заведений. СПб., 1911. Ч. 1, кн. 2.
- [60] *Келтуяла В. А.* Метод истории литературы: схема историко-литературного познания. М., 1928.
- [61] *Кирпотин В.* Об отношении русской литературы и русской критики к капиталистическому западу // Октябрь. 1970. Сентябрь. С. 161–183.
- [62] *Коган П. С.* О формальном методе // Печать и Революция. 1924. Кн. 5. С. 32–35.
- [63] *Коринфский А. А.* Народная Русь. М., 1901.
- [64] *Крывелов И. А.* Преодоление религиозно-бытовых пережитков у народов СССР // Советская этнография. 1961. № 4. С. 37–43.
- [65] *Кузнецов М., Дмитраков И.* Против буржуазных традиций в фольклористике (О книге проф. В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки») // Советская этнография. 1948. № 2. С. 230–239.
- [66] *Кулаковский Л.* Искусство села Дорожево. М., 1959.
- [67] *Лазутин С.* Реставрация отживших теорий // Литературная газета. 1947. 12 июля.
- [68] *Лежнев И., Тимофеев Л.* Бедные люди // Правда. 1936. 21 ноября.
- [69] *Лихачев Д. С.* Культура Руси эпохи образования русского национального государства (конец XIV — начало XVI в.). Л., 1946.
- [70] *Лихачев Д. С.* Культура Руси времени Андрея Рублева и Елифания Премудрого. М.; Л., 1962.
- [71] *Лотман Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике: введение, теория стиха. Труды по знаковым системам. № 1 // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1964. Т. 160.
- [72] *Лурье С. Я.* Дом в лесу // Язык и литература (Научно-исследовательский институт речевой культуры). Л., 1932. Т. 8. С. 159–193.
- [73] *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903.
- [74] *Марр Н. Я.* Яфетическая теория: Программа общего учения об языке. Баку, 1928.
- [75] *Мартынова А. Н.* Личный фонд В. Я. Проппа в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН // Кунсткамера. СПб., 1995. Вып. 8–9. С. 168–172.
- [76] *Материалы международной конференции, посвященной 100-летию В. Я. Проппа* // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1995. Вып. 8–9. С. 173–175.
- [77] *Медведев П. Н.* Формальный метод в литературоведении. Л., 1928.
- [78] *Миллер В. Ф.* Очерки русской народной словесности. Т. 1. М., 1897; т. 2. М., 1910; т. 3. М., 1924.
- [79] *Мелетинский Е. М.* Обзор кн. Проппа «Русский героический эпос» // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Л., 1956. Т. 15. Вып. 2. С. 178–182.

- [80] *Мелетинский Е. М.* Герой волшебной сказки: Происхождение образа. М., 1958.
- [81] *Мелетинский Е. М.* Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
- [82] *Мелетинский Е. М.* О структурно-морфологическом анализе сказки // Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1966. С. 37–40.
- [83] *Мелетинский Е. М.* Структурно-типологическое изучение сказки // *Пропп В. Я.* Морфология сказки. 2-е изд. М., 1969. С. 134–169. (Пер. на англ.: *Genre*. 1971. N 4. P. 249–279; *Saret structural folkloristics* / Ed. P. Maranda. The Hague; Paris, 1974. P. 1951.)
- [84] *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976.
- [85] *Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М.* Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам. Т. 4. Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 236. Тарту, 1969. С. 86–135.
- [86] *Миллер О.* Илья Муромец и богатство Киевское. СПб., 1869.
- [87] *Минх А. Н.* Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии // Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1890. Т. 19. Вып. 2.
- [88] *Молдавский Д. М.* Василий Березайский и его Анекдоты древних пошехонцев // Русская сатирическая сказка в записях середины XIX—начала XX веков / Под ред. Д. М. Молдавского. М.; Л., 1955. С. 236–245.
- [89] Мифы народов мира / Под ред. С. А. Токарева и др. М., 1980. Т. 1. С. 15.
- [90] Народные исторические песни / Предисл., подг. текста и коммент. Б. Н. Путилова. М.; Л., 1962 (Библиотека поэта. Большая серия).
- [91] *Никифоров А. И.* К вопросу о морфологическом изучении народной сказки // Сборник статей в честь Академика А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 173–178. [Пер. на англ.: *Nikiforoff A. I.*] Towards a morphological study of the folktale // The study of Russian folklore / Ed. Felix J. Oinas and Stephen Soudakoff. The Hague; Paris, 1975. No. 4. P. 155–161 (Slavistic Printings and Reprintings, Textbook Series).
- [92] *Никифоров А. И.* Финская школа перед кризисом // Советская этнография. 1934. № 4. С. 141–144.
- [93] *Новик Е. С.* Система персонажей русской волшебной сказки // Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970) / Сост. Е. М. Мелетинский и С. Ю. Неклюдов. М., 1975. С. 214–246.
- [94] *Носова Г. В. Я.* Пропп. Русские аграрные праздники // *Deutsches Jahrbuch für Volkskunde*. Vol. 10. Berlin, 1964. S. 196–199.
- [95] *Носова Г. В. Я.* Пропп. Русские аграрные праздники (Обзор) // Советская этнография. 1964. № 1. С. 176–178.
- [96] *Пастернак Б.* Переписка с Ольгой Фрейденберг / Ed. and commentary by Elliot Mossman. N. Y.; London, 1981.
- [97] Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934 / Под ред. И. К. Луппол, М. М. Розенталь и С. М. Третьякова. М., 1990.
- [98] *Перетц В.* Нова метода вивчати казки (Обзор кн. Проппа «Морфология сказки» (1928)) // *Етнографічний вісник*. Київ, 1930. Т. 9. С. 187–195.
- [99] *Петров В.* Буржуазная фольклористика и проблема стадийности // Советский фольклор. М.; Л., 1936. Т. 2–3. С. 31–49.
- [100] *Петровский М. А.* Морфология новеллы // *Ars poetica*. М., 1927. Т. 1. С. 69–100.
- [101] *Плисецкий М. М.* Историзм русских былин. М., 1962.
- [102] *Плисецкий М. М.* Ред. на кн.: *Umovi tvorennya eposu v Kiivs'kii Rusi* // Литературная критика, 1940. N. 11–12. С. 76.
- [103] *Померанцева Е. В.* Русская народная сказка. М., 1963.
- [104] *Померанцева Е. В.* Судьбы русской сказки. М., 1965.

- [105] Пoesия крестьянских праздников // Предисл., подбор текстов и коммент. И. И. Земцовского. Л., 1970 (Библиотека поэта. Большая серия).
- [106] Пропп В. Я. Морфология русской волшебной сказки // Сказочная комиссия в 1926 г.: Обзор работ / Под ред. С. Ф. Ольденбурга. (Вестник гос. Русского географического общества. Отделение этнографии). Л., 1927. С. 48–49.
- [107] Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.
- [108] Пропп В. Я. Морфология сказки (Обзор) // Поэтика: Временник отдела словесных искусств Гос. института истории искусств. Л., 1928. Т. 4.
- [109] Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок // Поэтика: Временник отдела словесных искусств: Сб. ст. / Гос. институт истории искусств. Л., 1928. Т. 4. С. 70–89.
- [110] Пропп В. Я. Морфология сказки (Обзор) // Печать и Революция. Кн. 1. 1929. С. 121–122.
- [111] Пропп В. Я. Повторительный курс немецкого языка. Л., 1929; 2-е изд. Л., 1935.
- [112] Пропп В. Я. К вопросу о происхождении волшебной сказки: Волшебное дерево на могиле // Советская этнография. 1934. № 1, 2. С. 125–151.
- [113] Пропп В. Я. Мужской дом в русской сказке // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 20. Серия филологических наук. Л., 1939. Вып. 1. С. 174–198.
- [114] Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре: По поводу сказки о Несмеяне // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 46. Серия филологических наук. Л., 1939. Вып. 3. С. 151–175.
- [115] Пропп В. Я. Мотив чудесного рождения // Ученые записки Ленинградского гос. университета № 81. Серия филологических наук. Л., 1941. Вып. 12. С. 67–98.
- [116] Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 72. Серия филологических наук. Л., 1944. Вып. 9. С. 138–175.
- [117] Пропп В. Я. Чукотский миф и гяляцкий эпос // Научный бюллетень Ленинградского гос. университета. Л., 1945. № 4. С. 29–30.
- [118] Пропп В. Я. Специфика фольклора // Труды юбилейной научной сессии Ленинградского гос. университета. Секция филологических наук. Л., 1946. С. 138–151.
- [119] Пропп В. Я. Проблема артикля в современном немецком языке // Сборник памяти акад. Л. В. Щербы. Л., 1951. С. 213–226.
- [120] Пропп В. Я. Отражение разгрома монголо-татарского нашествия в русском эпосе: к вопросу о типическом в народно-поэтическом творчестве // Научная сессия 1952–1953 гг. Ленинградского гос. университета: Тезисы докладов по секции филологических наук. Л., 1953. С. 23–25.
- [121] Пропп В. Я. Язык былин как средство художественной изобразительности // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 173. Серия филологических наук. Вып. 20. Л., 1954. С. 375–403.
- [122] Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955. Относительно перевода на английский предисловия. См. кн. Проппа «Theory and history of folklore». P. 149–163.
- [123] Пропп В. Я. Песня о гневе Грозного на сына // Вестник Ленинградского гос. университета. № 14. Серия истории языка и литературы. Вып. 3. Л., 1958. С. 75–103.
- [124] Пропп В. Я. Русский героический эпос. 2-е изд. Л., 1958.
- [125] Пропп В. Я. Основные этапы развития русского героического эпоса // Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М., 1960. С. 284–311.
- [126] Пропп В. Я. Исторические основы некоторых русских религиозных празднеств // Ежегодник музея истории религии и атеизма. М.; Л., 1961. Т. 5: О преодолении религии в СССР. С. 272–296.

- [127] *Пропп В. Я.* Народные лирические песни. Л., 1961.
- [128] *Пропп В. Я.* Об историзме русского эпоса: Ответ Академику Б. А. Рыбакову // Русская литература. 1962. № 2. С. 87–91.
- [129] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. Л., 1955; 2-е изд., Л. 1958.
- [130] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность // Русская литература. 1963. № 3. С. 62–84.
- [131] *Пропп В. Я.* Принципы классификации фольклорных жанров // Советская этнография. 1964. № 4. С. 147–154. Пер. на англ.: The principles of classifying folklore genres // *Propp V.* Theory and history of folklore. P. 39–47.
- [132] *Пропп В. Я.* Жанровый состав русского фольклора // Русская литература. 1964. № 4. С. 58–76.
- [133] *Пропп В. Я.* Об историзме русского фольклора и методах его изучения // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 339. Серия филологических наук. Вып. 72. Л., 1968. С. 5–25.
- [134] *Пропп В. Я.* Морфология сказки. 2-е изд. М., 1969.
- [135] *Пропп В. Я.* Проблема смеха и комизма // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 355. Серия филологических наук. Вып. 76. Л., 1971. С. 160–178.
- [136] *Пропп В. Я.* Змеелорство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография русского севера. Л., 1973. С. 190–208.
- [137] *Пропп В. Я.* Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
- [138] *Пропп В. Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи / Под ред. Б. Н. Путилова. М., 1976. С. 132–152. Пер. на англ.: *Propp V.* The structural and historical study of the wonder tale / Trans. L. Scott // *Propp V.* Theory and history of folklore. P. 67–81.
- [139] *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность: Избранные статьи / Под ред. Б. Н. Путилова. М., 1976.
- [140] *Пропп В. Я.* Русская сказка / Под ред. К. В. Чистова. Л., 1984.
- [141] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; 2-е изд. Л., 1986.
- [142] *Пропп В. Я.* Дневник старости. 1962–196... / Вступ. ст. Б. Н. Путилова, публ. и прим. А. Н. Мартыновой // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1995. 1. 3.
- [143] *Пропп В. Я.* Открытая лекция / Публ. Л. М. Ивлевой // Живая старина. 1995. № 3 (7). С. 11–13.
- [144] *Пропп В. Я.* Речь на юбилее весной 1965 года / Публ. А. Н. Мартыновой // Там же. С. 9–10.
- [145] *Пропп В. Я.* Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. Л., 1963; 2-е изд. СПб., 1995.
- [146] *Пропп В. Я.* Воля // Нева. 1998. № 10.
- [147] *Пропп В. Я., Вейерт И. Ф.* Немецкая хрестоматия для студентов-экономистов. М.; Л., 1929.
- [148] *Пропп В. Я., Вейерт И. Ф.* Рабочая книга по немецкому языку для экономических вузов и техникумов. Л., 1929; 2-е изд. Л., 1930.
- [149] Против буржуазного либерализма в литературоведении: по поводу дискуссии об А. Веселовском // Культура и жизнь. 1948. 11 марта.
- [150] *Путилов Б. Н.* Успех творческих исканий (обзор кн. Проппа «Русский героический эпос», 1955) // Звезда. 1956. № 3. С. 183–184.
- [151] *Путилов Б. Н.* Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Л., 1976.
- [152] *Путилов Б. Н.* Сборник Кирши Данилова и его место в русской фольклористике // Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / 2-е расширенное изд., подг. А. П. Евгеньевой и Б. Н. Путиловым. М., 1977. С. 361–404.

- [153] *Путилов Б. Н.* Наследие В. Я. Проппа-фольклориста // Кунсткамера. СПб., 1995. Т. 8—9. С. 164—167.
- [154] *Разумова И. А.* Стилистическая обрядность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1991.
- [155] *Резвин И. И.* К общесемиотическому истолкованию трех постулатов Проппа: анализ сказки и теория связности текста // Типологические исследования по фольклору. М., 1975. С. 77—91.
- [156] *Русская сказка: Избранные мастера: В 2 т. / Ред. и коммент. М. Азадовского.* М., 1931.
- [157] *Русские исторические песни XVI—XVIII веков // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия.* М., 1960. Т. 61.
- [158] *Русский фольклор: Библиографический указатель 1966—1975. Ч. 1 / Сост. М. Я. Мельц. Л., 1984.*
- [159] *Русский фольклор: Библиографический указатель 1976—1980 / Сост. Т. Г. Иванова Л., 1987.*
- [160] *Русское народное творчество / Под ред. П. Г. Богатырева, В. Е. Гусева, И. М. Колесницкой и др. М., 1966.*
- [161] *Рыбаков Б. А.* Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.
- [162] *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981.
- [163] *Рыбаков Б. А.* Язычество древней Руси. М., 1987.
- [164] *Сахаров И. П.* Сказания русского народа: В 3 т. СПб., 1841.
- [165] *Северно-русские сказки в записях А. И. Никифорова / Под ред. В. Я. Проппа. М.; Л., 1961.*
- [166] *Сезал Д. М.* О связи семантики текста с его формальной структурой // Poetics: poetyka, poetika. Vol. 2. Warsaw, 1966. P. 15—44.
- [167] *Серебряный С. Д.* Интерпретация формулы В. Я. Проппа: В связи с ее приложением к индийским сказкам // Типологические исследования по фольклору. С. 293—302.
- [168] *Сильман Т., Адмони В.* Мы вспоминаем: Роман. СПб., 1993.
- [169] *Скафтымов А. П.* Поэтика и генезис былин: Очерки. М.; Саратов, 1924.
- [170] *Снегирев И. М.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1837—1839. Вып. 1—4.
- [171] *Советская историческая школа в былиноведении (40 — 60-е годы) и Всеволод Миллер // Русский фольклор. Л., 1979. Т. 19. С. 84—112.*
- [172] *Соколов Ю. М.* Русский фольклор. М., 1941.
- [173] *Соколова В. К.* Дискуссии по вопросам фольклористики на заседаниях сектора фольклора Института этнографии // Советская этнография. 1948. № 3. С. 139—146.
- [174] *Соколова В. К.* Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX— начала XX в. М., 1979.
- [175] *Соколянский М.* Обзор кн. Проппа «Проблемы комизма и смеха» (М., 1976) // Литературное обозрение. 1977. № 9. С. 66—67.
- [176] *Степанов Ю. С.* Понятие «типического» в традиции и перспективе (А. Н. Веселовский, В. Ф. Шишмарев, В. Я. Пропп) // Актуальные проблемы советской романистики (Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика В. Ф. Шишмарева; 1875—1975): Тезисы докладов. Л., 1975. С. 86—89.
- [177] *Талпа М.* Учение Н. Я. Марра и фольклористика // Литературный критик. 1937. № 3. С. 130—160.
- [178] *Теоретические проблемы историзма былин в науке советского времени. М., 1980. Вып. 3.*
- [179] *Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М., 1980.*
- [180] *Терещенко А. В.* Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 1—7.
- [181] *Тэрнер В.* Символ и ритуал. М., 1983. С. 40.

- [182] Типологические исследования по фольклору: Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970) / Сост. Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. М., 1975.
- [183] Токарев С. А. История русской этнографии: Дооктябрьский период. М., 1966.
- [184] Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С. А. Токарева и др. М., 1980. Т. 1. С. 11—20.
- [185] Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 15.
- [186] Турбин В. Репортаж со святок (Обзор кн. Проппа «Русские аграрные праздники» Л., 1963) // Молодая гвардия. 1964. № 16. С. 289—299.
- [187] Уорнер Э. Некоторые аспекты влияния Проппа на работу англоязычных исследователей: Правильно ли его понимали? // Кунсткамера. СПб., 1995. Вып. 8—9. С. 179—189.
- [188] Ухов П. Д. Обзор кн. Проппа «Русский героический эпос» (1955) // Советская этнография. 1956. № 2. С. 147—150.
- [189] Ухов П. Д. Русский эпос // Эпос славянских народов: Хрестоматия / Ред. П. Г. Богатырева. М., 1956. С. 7—24.
- [190] Ухов П. Д. Русская былевая поэзия // Былины / Под ред. П. Д. Ухова. М., 1957.
- [191] Фадеев А. А. Советская литература после постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Литературная газета. 1947. 29 июня. С. 1—2.
- [192] Фаминцин А. С. Богиня весны и смерти в песнях и обрядах славян // Вестник Европы. 1895. Июнь—июль. С. 675—699.
- [193] Халанский М. Г. Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885.
- [194] Харитонов М. Как сложили сказку (обзор кн. Проппа «Морфология сказки», 1969) // Знание — сила. 1970. № 2. С. 47.
- [195] Чистов К. В. В. Я. Пропп: Легенды и факты // Советская этнография. 1981. № 6. С. 52—64.
- [196] Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986.
- [197] Чичеров В. И. Об этапах развития русского исторического эпоса // Историко-литературный сборник / Ред. С. П. Бычкова, Ф. М. Головенченко и С. М. Петрова. М., 1947. С. 3—60.
- [198] Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957.
- [199] Чичеров В. И. Русское народное творчество. М., 1959.
- [200] Шабунин В. Наша переписка с Волюшкой. 1953—1970 / Публ. А. Н. Мартыновой // Ежегодник рукописного отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) на 1995 г. СПб., 1999.
- [201] Шамбинаго С. К. Песни-памфлеты XVI века. М., 1913.
- [202] Шамбинаго С. К. Исторические песни и сказки XVI века // История русской литературы. М.; Л., 1945. Т. 2, ч. 1.
- [203] Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1.
- [204] Шишмарев В. Ф. Александр Веселовский и русская литература. Л., 1946.
- [205] Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания, 1917—1922. М.; Берлин, 1923.
- [206] Шкловский В. О теории прозы. М.; Л., 1925.
- [207] Шор Р. Обзор кн. Проппа «Морфология сказки» (1928) // Печать и Революция. 1928. Кн. 7. С. 192—193.
- [208] Шрейдер Ю. А. Модели в лингвистике и математике // Математическая лингвистика. М., 1973. С. 63—83.
- [209] Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой. Берлин; Пг., 1922.
- [210] Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: В. 2 т. Л., 1928—1931.
- [211] Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. Л., 1934.

- [212] *Avalle S. D'Arco*. Systems and structures in the folktale // Twentieth century studies. 1970. Vol. 3. P. 67–75.
- [213] *Bârbulesc C.* Review of Propp, *Morfologia basmului* // Revista de etnografie i folclor. 1971. N. 4.
- [214] *Bakhtine M.* L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance / Transl. A. R. Paris, 1970.
- [215] *Barnes D. R.* Folktale morphology and the structure of Beowulf // Speculum. 1970. Vol. 45. P. 416–434.
- [216] *Bascom W.* The myth-ritual theory // Journal of American folklore. 1957. Vol. 70. P. 103–114.
- [217] *Bédier J.* Les fabliaux: Études de littérature populaire et d'histoire littéraire du Moyen Age. Paris, 1893.
- [218] *Bendix R.* Review of Vladimir Propp, *Theory and history of folklore* / Ed. Anatoly Liberman // Western folklore. 1986. Vol. 45. P. 305–307.
- [219] *Bogatyrev P., Jakobson R.* Die folklore als eine besondere form des schaffens // Donum Natalicum Schrijnen 3 Mei 1929. Nijmegen; Utrecht, 1929. S. 900–913.
- [220] *Bogatyrev P.* Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique. Paris, 1929.
- [221] *Bravo G. L.* Review of Propp, *Morfologia della fiaba* // Problemi. 1967. Vol. 2. P. 64–72.
- [222] *Bremond C.* Le message narratif // Communications. 1964. Vol. 4. P. 4–32.
- [223] *Bremond C.* Postérité Americaine de Propp // Communications. 1967. Vol. 11. P. 148–164.
- [224] *Bremond C.* Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi // Pamiętnik literacki. Wrocław; Warsaw; Kraków, 1968. Vol. 59. Pt. 4. P. 285–291.
- [225] *Breymayer R.* Vladimir Jakoblevic Propp (1895–1970) — Leben, Wirken und Bedeutsamkeit // Linguistica Biblica. 1972. Vol. 15–16. P. 36–66.
- [226] *Buchan D.* Propp's tale role and a ballad repertoire // Journal of American folklore. 1982. Vol. 95. P. 159–172.
- [227] *Chatman S.* New ways of analyzing narrative structure, with an example from Joyce's *Dubliners* // Language and style. 1969. Vol. 2. P. 3–36.
- [228] *Childe V. Gordon.* Social evolution. London, 1951.
- [229] *Cirese A. M.* Introduction to Vladimir Jakoblevich Propp // *Le radici storiche dei racconti di fate*. Torino, 1972. P. 5–19.
- [230] *Croce B.* Review of V. J. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate (1949)* // Quaderni della critica. 1949. Vol. 15. P. 102–105.
- [231] *De Meyer P.* Propp in Italy // Russian Literature. 1982. XII (1). P. 1–10.
- [232] *Down along the mother Volga: an anthology of Russian folk lyrics* / Transl. and ed. Roberta Reeder, Bloomington & Indianapolis, 1992.
- [233] *Drobin U.* Review of Vladimir Propp, *Morphologie du conte (1970)* // *Temenos*. 1970. Vol. 6. P. 164–171.
- [234] *Dundes A.* From etic to emic units in the structural study of folktales // J. of American folklore. 1962. Vol. 75. P. 95–105.
- [235] *Dundes A.* The morphology of North American Indian folktales // Folklore fellows communications. Vol. 81. N 195. Helsinki, 1964.
- [236] *Dundes A.* The making and breaking of friendship as a structural frame in African folk tales // Structural analysis of oral tradition / Ed. by P. Maranda, E. Köngäs-Maranda. Philadelphia, 1971. P. 173.
- [237] *Dundes A.* Structuralism and folklore // *Studia fennica*. 1976. Vol. 20. P. 75–93.
- [238] *Dupas J.-C.* Pour et contre Marr: Les arguments échangés // *Langages*. 1977. N 46. June. P. 38–58.
- [239] *Dupas J.-C., Lelièvre C.* La controverse sur le marrisme: Thèmes et déroulement // *Langages*. 1977. N 46. June. P. 24–37.
- [240] *Engels F.* Herr Eugen Dühring's revolution in science (Anti-Dühring) // *The Marxist-Leninist Library*. Vol. 1. London, 1942.

- [241] *Erllich V.* Russian formalism: History and doctrine // Slavistic Printings and Reprintings. N 4. The Hague; London; Paris, 1965.
- [242] *Essays on Russian folklore and mythology.* Columbus; Ohio, 1985.
- [243] *Fischer J. L.* The sociopsychological analysis of folklore // *Current anthropology.* 1963. Vol. 4. P. 235–295.
- [244] *Frazer J. C.* The golden bough: A study in magic and religion (Abridged ed.) London, 1923.
- [245] *Gayton A. H.* Perspectives in folklore // *Journal of American folklore.* 1951. Vol. 64. P. 147–150.
- [246] *Graham L. R.* Cybernetics in the Soviet Union // *Survey.* 1964. N 52. July. P. 3–18.
- [247] *Greimas A. J.* *Sémantique structurale.* Paris, 1966.
- [248] *Grimm's fairy tales /* Transl. and ed. Margaret Hunt. London, 1959.
- [249] *Gugushvili A.* Nicolas Marr and his japhetic theory // *Georgica.* 1935. Vol. 1. P. 101–115.
- [250] *Halperin C. J.* Russian and the Golden Horde: The Mongol impact on Russian history. London, 1987.
- [251] *Haltsonen S. H.* Review of Propp, *Russkie agrarnye prazdniki* // *Virittajam.* 1963. Vol. 2. P. 283–284.
- [252] *Hendricks W. O.* Folklore and the structural analysis of literary texts // *Language and style.* 1970. Vol. 3. P. 83–121.
- [253] *Hendricks W.* The work and play structure of narrative // *Semiotica.* 1975. Vol. 13. P. 281–328.
- [254] *Hesiod.* *Work and days /* Ed. T. A. Sinclair. London, 1932.
- [255] *Hyman S. E.* The ritual view of myth and the mythic // *Journal of American folklore.* 1955. Vol. 68. P. 462–472.
- [256] *Jacobs M.* Review of Propp, *Morphology of the folk tale (1958)* // *Journal of American folklore.* 1959. Vol. 72. P. 195–196.
- [257] *Jameson F.* The prison — house of language: A critical account of structuralism and Russian formalism. Princeton; NY., 1972.
- [258] *Jason H.* The Russian criticism of the «Finnish School» in folktale scholarship // *Norveg.* 1970. Vol. 14. P. 285–294.
- [259] *Jason H., Segal D.* The problem of [1] «tale role» and «character» in Propp's work in *Patterns in oral literature* // *World Anthropology Series /* Ed. Heda Jason and Dimitri Segal. The Hague; Paris, 1977. P. 313–320.
- [260] *Köngäs E., Maranda P.* Structural models in folklore // *Midwest folklore.* 1962. Vol. 12. N 3. Winter. P. 133–192.
- [261] *Kovács Z. V. J.* Propp: Az orosz hőseposz // *Этнография.* 1956. Т. 67. N 4. С. 669–671.
- [262] *Levin I.* Vladimir Propp: An evaluation on his seventieth birthday // *Journal of the Folklore Institute.* 1967. Vol. 4. P. 32–49.
- [263] *Lévi-Strauss C.* The structural study of myth // *Journal of American folklore.* 1955. Vol. 68. P. 428–444.
- [264] *Lévi-Strauss C.* L'analyse morphologique des contes russes // *International journal of Slavic linguistics and poetics.* 1960. Vol. 3. P. 122–149.
- [265] *Lévi-Strauss C.* La structure et la forme: réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp // *Cahiers de l'Institut de science économique affluquée.* Vol. 99. Sér. M. N 7. Paris, 1960. P. 3–36.
- [266] *Liberman A.* Review of Propp *Russkaya skazka* (Leningrad, 1984) // *Journal of American folklore.* 1985. Vol. 98. P. 347–348.
- [267] *Lüthi M.* Vladimir Propp, *Morphologie des Märchens* // *Zeitschrift für Volkskunde.* 1973. Vol. 69. S. 290–293.
- [268] *Lüthi M.* The European folktale: form and nature / Transl. by John D. Niles / Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia, 1982.

- [269] *Maranda, Köngäs-Maranda*. Structural models in folklore and transformational essays // Approaches to Semiotics. N 10. The Hague, 1971.
- [270] *Marcellesi J.-B.* A propos du marrisme : «Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité» // Langages. 1977. N 46. June. P. 3–22.
- [271] *Marcellesi J.-B., Baggion D., Dupa J.-C., Cadet F. and Lelièvre C.* Langage et classes sociales: Le marrisme // Langages. 1977. N 46.
- [272] *Matejka L., Pomorska K.* Readings in Russian poetics: Formalist and structuralist views. Ann Arbor, 1978.
- [273] *Medvedev P. N., Bakhtin M. M.* The Formal method in literary scholarship: A critical introduction to sociological poetics / Transl. Albert J. Wehrle. Baltimore; London, 1978.
- [274] *Meletinsky E., Segal D.* Structuralism and semiotics in the USSR / Transl. Nicolas Slater // Diogen. 1971. Vol. 73. P. 88–116.
- [275] *Milne P. J.* Vladimir Propp and the study of structure in Hebrew Biblical narrative. Sheffield, 1988.
- [276] Myth and ritual // Journal of American folklore. 1955. Vol. 68. P. 454–461.
- [277] *Nathorst B.* Formal or structural studies of traditional tales: The usefulness of some methodological proposals advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Lévi-Strauss and Edmund Leach / Transl. Donald Burton // Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion. Stockholm, 1969. N 9.
- [278] *Naumann H. F. E.* Primitive Gemeinschaftskultur : Beiträge zur Volkskunde und Mythologie. Jena, 1921.
- [279] *Oinas F. J.* The political uses and themes of folklore in the Soviet Union // Folklore, nationalism and politics / Felix J. Oinas. Columbus (Ohio), 1978. Vol. 30. P. 77–95. (Indiana University Folklore Institute Monograph Series).
- [280] *Perrault C.* Contes / Ed. Marc Soria. Paris, 1989.
- [281] *Perrie M.* The image of Ivan the Terrible in Russian folklore. Cambridge, 1987. (Cambridge Studies in Oral and Literate Culture).
- [282] *Pomorska K.* Russian formalist theory and its poetic ambiance. The Hague; Paris, 1968.
- [283] *Pop M.* Aspects actuels des recherches sur le structure des contes // Fabula. Bd. 9, Hf. 1–3. Berlin, 1967. P. 70–77.
- [284] *Pospelovskiy D.* The Russian church under the Soviet regime 1917–1982. Vol. 2. Crestwood; N. Y., 1984.
- [285] Precursors of Propp: Formalist theories of narrative in early Russian ethnopoetics // P T L: A journal for descriptive poetics and theory of literature. 1977. Vol. 3. P. 471–516.
- [286] *Propp V.* Morphology of the folktale / Ed. and introduction by Svatava Pirkova-Jakobson. Transl. Laurence Scott / Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication 10. Bloomington, 1958; also International Journal of American Linguistics. (1958). Vol. 24. N 4. Pt. 3. (Bibliographical and Special Series of the American Folklore Society. Vol. 9).
- [287] *Propp V.* Struttura e storia nello studio della favola // *Propp V.* Morfologia della fiaba, con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica dell'autore / A cura di Gian Luigi Bravo. Torino, 1966.
- [288] *Propp V.* Morphology of the folktale / Transl. Laurence Scott. 2nd edn., rev. and ed. with preface by Louis A. Wagner, introduction by Alan Dundes. Austin; London, 1968. (American Folklore Society Bibliographical and Special Series. Vol. a (1968) and Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication 10 (1968)).
- [289] *Propp V.* Fairy tale transformations / Transl. C. H. Severens in Ladislav Matejka and Krystina Pomorska // Readings in Russian poetics: formalist and structuralist views. Cambridge, Mass., 1971. P. 99–114.
- [290] *Propp V.* Le radici storiche dei racconti di fate / Transl. C. Coisson, introduction, by G. Cocchiara (Turin, 1949). 2nd ed. with introduction by A. M. Cirese. Turin, 1972.

- [291] *Propp V. Study of the folktale: Structure and history* // Transl. S. Shishkoff // *Dispositio*. 1976. N 1–3. P. 277–292.
- [292] *Propp V. Structure and history in the study of the fairy tale* / Transl. Ed. H. T. Mc Elwain // *Semeia*, 1978. Vol. 10. P. 57–83.
- [293] *Propp V. Oedipus in the light of folklore* // *Oedipus: A folklore casebook* / Lowell Edmond and Allan Dundes. N. Y., 1983. P. 786–121.
- [294] *Propp V. Ritual laughter in folklore (A propos of the tale of the princess who wouldn't laugh [Nesmejana])* // *Propp V. Theory and history of folklore*. P. 124–46.
- [295] *Propp V. The nature of folklore* // *Propp V. Theory and history of folklore*. P. 3–15.
- [296] *Propp V. The structural and historical study of the wondertale* / Transl. Laurence Scott // *Propp V. Theory and history of folklore*. P. 67–81.
- [297] *Propp V. On the historicity of folklore* // *Propp V. Theory and history of folklore*. P. 48–63.
- [298] *Propp V. Theory and history of folklore* / Transl. Ariadne Y. Martin, Richard P. Martin et al. // *Theory and history of literature*. Minneapolis, 1984. Vol. 5.
- [299] *Raglan F. R. S., Lord. The hero: A study in tradition, myth and drama*. London, 1936.
- [300] *Religion in the USSR* / Ed. Conquest Robert. London; Sydney; Toronto, 1968.
- [301] *Russian formalism: A retrospective glance (a festschrift in honor of Victor Erlich)* // Ed. Jackson Robert Louis and Rudy Stephen. // *Yalle Russian and East European Publications*. N 6. New Haven, 1985.
- [302] *Rude and barbarous kingdom: Russia in the accounts of sixteenth-century English voyagers* / Ed. L. E. Berry, R. O. Crumney / *University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee; London, 1968*.
- [303] *Saintyves P. Les contes de Perrault et les récits parallèles: Leurs origines (coutumes primitives et liturgies populaires)*. Paris, 1923.
- [304] *Sasson J. M. Ruth: a new translation with a philological commentary and a formalist-folklorist interpretation*. London, 1979.
- [305] *Seyffert P. Soviet literary structuralism: Background, debate, issues*. Columbus (Ohio), 1985.
- [306] *Shelley M. «Frankenstein» in Three gothic novels* / Ed. Peter Fairclough, introductory essay by Mario Praz. Bungay, 1968.
- [307] *Simon G. Church, state and opposition in the USSR* / Transl. Kathleen Matchett in collaboration with the Centre for the Study of Religion and Communism. London, 1974.
- [308] *Sokolov Yu. M. Russian folklore* / Transl. Catherine Ruth Smith; introduction and bibliography Felix J. Oinas; Hartboro (Pennsylvania), 1966.
- [309] *Sorlin I. Aux origines de l'étude typologique et historique du folklore; l'Institut de linguistique de N. Ja. Marr et le jeune Propp, Regards sur l'anthropologie Soviétique* // *Cahiers du monde Russe et Soviétique*. 1990. Vol. 31. N 2–3 (Avril – Septembre). P. 275–284.
- [310] *Soviet structural folkloristics* / Ed. Maranda Pierre. The Hague; Paris, 1974.
- [311] *Steiner P. Russian formalism: A metapoetics*. Ithaca; London, 1984.
- [312] *Steiner P., Davydov S. The biological metaphor in Russian Formalism* // *Sub-Stance*, 1977. N 16. P. 149–158.
- [313] *Stiglmayr E. Morphology of the folktale (1968)* // *Review of Ethnology*. 1969. N 3. February 3. P. 1–3.
- [314] *Structural analysis of oral tradition* / P. Elli-Köngäs-Maranda. Philadelphia, 1971.
- [315] *Struve C. Witch-hunt: Russian style (the Soviets purge literary scholarship)* // *New leader*. N. Y., 1949. P. 8–9.
- [316] *Taylor A. Propp V. Morphology of the folktale (1958)* // *Slavic and East European journal*. 1959. Vol. 17. P. 187–189.
- [317] *Taylor A. The biographical pattern in traditional narrative* // *Journal of the Folklore Institute Indiana University*. 1964. Vol. 1. P. 114–29.

- [318] *Tchisto K. W.* V. Ya. Propp: Legends and facts / Transl. by E. Warner. // *International folklore review*. 1986. Vol. 4. P. 8–17.
- [319] The Central Committee resolution and Zhdanov's speech on the journals *Zvezda* and *Leningrad* / English translation by Felicity Ashbee and Irina Royal Oak. Michigan, 1978.
- [320] The study of verbalized content, review of V. Ya. Propp, *Morfologiya skazki* // *Times literary supplement*. 1970. 23 July. P. 807–808.
- [321] *Thompson E. M.* Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A comparative study. The Hague; Paris, 1971.
- [322] *Todorov T.* L'héritage méthodologique du formalisme // *L'homme*. 1965. Vol. 1. P. 64–83.
- [323] *Todorov T.* Théorie de la littérature: Textes des Formalistes Russes. Paris, 1965.
- [324] *Toporov V. N.* A few remarks on Propp's Morphology of the folktale in Russian Formalism: Jackson and Stephen Rudy. P. 252–271.
- [325] *Toschi P.* Review of V. Ya. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate (1949)* // *Lares*. 1949. Vol. 15. P. 3–4, 137–149.
- [326] *Turner J. W.* A morphology of the «true love» ballad // *Journal of American folklore*. 1972. Vol. 85. P. 21–31.
- [327] *Tylor E. B.* Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom. 2 vols. London, 1903.
- [328] *Warner E. A.* «Jenny Jones» and «Kostroma» // *Folklore*. 1970. Vol. 81, Winter. P. 276–279.
- [329] *Warner E. A.* The Russian folk theatre. The Hague; Paris, 1977.
- [330] *Warner E. A.* Folk theatre and dramatic entertainments in Russia. Cambridge, 1987.
- [331] *Warner E. A., Kustovskii E.* Russian traditional folksong. Hull, 1990.
- [332] *Zelenin D.* Propp V. *Morfologiya skazki* (Leningrad, 1928) // *Slavische Rundschau*. Berlin, 1929. N 4. P. 286–287.

Содержание

Книга Э. Э. Уорнер о Владимире Яковлевиче Проппе в русском издании	3
Предисловие	10
Глава I. «Морфология сказки»: Восприятие на Западе	12
Несколько слов о Владимире Проппе	12
Отзывы западных ученых	15
Был ли Пропп формалистом?	19
Леви-Стросс и Пропп: взаимное непонимание	31
Когда «функция» не является «функцией»?	35
Глава II. «Морфология сказки»: Точки зрения меняются	43
Морфологические исследования фольклора в 1920-е годы	43
Судьба «Морфологии сказки» в 1930—1950-е годы: годы затишья	49
Второе советское издание «Морфологии сказки»: изменение восприятия на Западе и в Советском Союзе	53
Глава III. «Исторические корни волшебной Сказки»:	
Пропп в пред- и послевоенные годы	60
От морфологии к историческим корням	61
Пропп и сравнительно-этнографический метод	64
Пропп, Сентив и Лурье	66
«Исторические корни волшебной сказки» и политический климат 1940-х годов	68
Глава IV. «Русский героический эпос»: Пропп и дискуссия об исторической природе фольклора	82
Эволюция былины и стадияльная теория	82
Генезис былины	87
Пропп и историческая школа	94
Противоположные взгляды на историческую природу былины ..	98
Пропп и Марр	104
Глава V. «Русские аграрные праздники»: Новый подход к изучению обряда	111
Заключение: Последние работы и посмертные издания	121
Литература	130

Научно издание

Элизабет Энн Уорнер
Elizabeth Ann Warner

**Владимир Яковлевич Пропп
и русская фольклористика**

Редакторы *В. А. Певчев, О. С. Капполь*
Корректоры *Н. И. Васильева, О. В. Шульгина, О. А. Масликова*
Верстка *О. А. Герасимовой*
Художественный редактор *С. В. Лебединский*

Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.1999 г. Подписано в печать 20.04.2005.
Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9. Тираж 500 экз. Заказ 1 1 8.

Отпечатано в ООО "Литография"
191119, С-Пб., ул. Днепропетровская д. 8
Филологический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета
199034, СПб., Университетская наб., д. 11

Книга представляет собой исследование творческого пути Владимира Яковлевича Проппа, ученого-фольклориста с мировым именем, и анализ четырех его важнейших монографий в контексте политической обстановки того времени и в свете бурных дебатов о природе фольклора. Автор делает попытку объяснить причину расхождений в оценках трудов Проппа между российскими и западными учеными. По независящим от автора обстоятельствам эта книга увидела свет лишь спустя несколько лет по завершении работы над ней и впервые опубликована не в оригинале, а в русском переводе. Издание адресовано фольклористам, литературоведам, филологам, а также широкому кругу читателей, которых интересует судьба и наследие В. Я. Проппа.



Элизабет Э. Уорнер – заслуженный профессор Даремского университета в Англии (University of Durham, United Kingdom), где много лет заведовала кафедрой славистики. Она является автором пяти монографий и многочисленных статей по этнографии и фольклору восточных славян.

В настоящее время занимается исследованиями крестьянских верований, совместно с коллегами из СПбГУ ежегодно принимает участие в фольклорных экспедициях на севере России. Закончила аспирантуру МГУ под руководством Петра Григорьевича Богатырева.